

Отрава для сердец

Автор:

[Елена Арсеньева](#)

Отрава для сердец

Елена Арсеньева

Страшными событиями омрачено детство Дашеньки: после гибели матери она похищена, увезена за тридевять земель, продана в рабство... Сквозь эти тернии прорастает северная роза – Троянда, опасная своей красотой, забывшая прошлое, беспутная головушка, содержанка блестящего авантюриста и богача. Но эта жизнь для Троянды не имеет цены, ибо она страстно мечтает об истинной любви... И почти на пороге смерти обретает ее в объятиях отважного русского купца и моряка.

Роман ранее выходил под названием "Северная роза"

Елена Арсеньева Отрава для сердец

Когда земная суета стихает

И с небом обнимается земля,

Вся плоть моя в тебя перетекает

И Богу становлюсь подобен я.

Пьетро Аретино

Пролог. Москва, 1525 год

...Она лежала у его ног и наконец-то была покорна. И груди ее белоснежные были покорны, и широко разведенные бедра, и темный, словно опаленный поцелуями, приоткрытый рот, и взгляд из-под опущенных тяжелых ресниц – все это, вся она покорила ему, лишь ему, отныне и навеки. И ничья более дерзновенная рука, ничья более воровская плоть и похоть не посягнут на нее, не отнимут ее у того, кому она принадлежала теперь безраздельно...

Марко резко оглянулся – послышалось движение за спиной.

И впрямь! Ванька-то еще жив! Хрипит, бессильно шарится по полу скрюченными пальцами. В последнем дыхании силится ухватить камчу, всегда висевшую у него на мизинце так, чтобы удобно было размахнуться в любой миг. Эка он наслаждался, поигрывая этой зловещей плетью, помахивая перед хмурым лицом чужеземца, который был для Ваньки хуже последнего холопа, нечестивее беса, грязнее грязи.

Марко хохотнул и, чувствуя какое-то неизвестное, свирепое удовлетворение, почти родственное вожделению, наступил каблуком на слабо вздрагивающее горло ключника.

Кудрявая голова резко запрокинулась, голая грудь поднялась – и уже не опустилась. Кровь залокотала меж четко вырезанных губ, зеленые глаза вмиг обесцветились, и то, что несколько мгновений назад было красивым, молодым, удачным лицом, превратилось в недвижимо-покорную, блеклую маску. Жизнь долее всего теплилась в неумном, неутомимом, дерзко вздыбленном естестве – но вот и оно опало, съежилось... умерло.

Для верности еще раз придавив ногою горло мертвеца, Марко подошел к сундуку, где Анисья держала зеркальный ларчик со своими уборами; погляделся в светлое стекло. Собственное лицо сперва почудилось ему диким, пугающим, незнакомым, но сейчас было не до того, чтобы всматриваться в глаза убийцы, глядевшие на него из зеркала. Он поднял шкатулку повыше, скосился, пытаясь увидеть свой лоб, даже потрогал его для верности.

Лоб как лоб. И никаких рогов. Все! От этого он вовремя отделался!

Хотя кого бранить, кроме себя? Ведь с первого взгляда на Анисью было ясно, что она – дочь порока, которая всякого мужчину рано ли, поздно наградит рогами или, как говорят русские, под лавку положит. Ясно-то оно было ясно, да вот беда – все равно не устоять!

Беда... Беда!

* * *

Впервые встретив ее, он глазам своим не поверил и даже украдкой скрестил за спиной пальцы, отгоняя беса. Но прекрасное видение, возникшее перед ним, не пропало, а все так же смиренно стояло у ворот, заслоняясь широким сборчатым алым рукавом, а другой рукою протягивая ему висящую вниз головой пеструю курицу, которая, верно, уже вполне смирилась со своей участью быть нынче сваренной и лишь изредка судорожно трепыхала крыльями.

Впрочем, на курицу Марко тогда смотрел менее всего, ибо стоило ему поймать взгляд ярко-синего, словно сапфир, глаза, выглядывающего из-за алого рукава, увидеть тугой, будто вишня, рот, застенчиво произносящий: «Не судите, господин, дозвоьте слово молвить», – как некая сладостная тяжесть налила его чресла и приковала ноги к земле. Он просто-таки врос в траву-мураву у этих тесовых ворот, забыв о том, что надобно спешить, что его ждет новый знакомец Михайла Воротников, что вообще небезопасно говорить с русскими женщинами на улице: того и гляди выскочит разгневанный супруг с холопьем – забьют до смерти, не дав слова в свое оправдание сказать, ибо всей цивилизованной Европе ведомо: русские раньше бьют, а потом спрашивают, виноват ли битый! Он не помнил сейчас ни о чем, охваченный странным пожаром в крови, и, хоть изрядно знал уже по-русски, с некоторым усилием сообразил, чего от него хочет женщина: ни брата, никого из мужской прислуги на подворье не было, а для обеда необходимо зарезать курицу. Она бы и сама это сделала, да ведь нельзя. Обычай не велит!

Марко уже довольно пожил в Московии, чтобы знать некоторые основные обычаи русских. Например, известно: пищей, приготовленной из того, что убито руками женщины, гнушаются, будто нечистым. Прикончить рыбу, свернуть голову птице, заколоть поросенка должен какой ни есть мужчина. Хоть бы и первый встречный прохожий человек!

Марко протянул руку и принял бледные куриные ноги, стараясь при этом как бы невзначай коснуться унизанных перстнями пальцев незнакомки. Она, застенчиво потупясь, сделала знак идти следом, и, протиснувшись в калиточку, Марко очутился в небольшом дворе, поросшем травкою.

Крыльцо с колоннами и остроконечной кровлею вело на террасу, огороженную балясами. Двухэтажный дом был невелик, неказист, но Марко взглянул на его бревенчатые стены с острым интересом: тут жила она! Хотел было приблизиться, назваться, расспросить о ее имени и звании, сказать, что...

Нет, сказать ничего было нельзя, они были не одни на дворе. Девка в посконной рубахе, забыв даже прилично заслониться рукавом, глазела на Марко разиня рот, словно на чудище заморское, каковым, впрочем, он и был в глазах этой простушки: высокий, смуглый, черноглазый, с длинными, нарядными ресницами и тонкими, словно бы нарочно насурьмленными, бровями. Коричневый бархатный камзол в отличие от русских тяжелых, просторных одежд прилегал к стану, будто коричневая перчатка, штаны обливали стройные ноги.

– Ой, мамыньки!.. – вдруг жарко выдохнула девка, бурно краснея, и Марко увидел, что бесстыдница вперила свой ошалелый взор в его чресла, столь туго обтянутые, что ткань не могла скрыть явного возбуждения, вдруг овладевшего его телом.

Девка даже перекрестилась, а Марко с такой яростью свернул шею злополучной куре, словно это был его самый лютей враг, и сунул в лицо служанке, вынуждая наконец-то отвести глаза. Девка схватила курицу и затопталась на месте, но окрик хозяйки: «Чего стала? Беги в поварню, дура, да чтоб сей момент ощипала птицу!» – вернул ей рассудок, и она неловко затрусилась в дом, поминутно оглядываясь на красивого незнакомца и крестясь.

– Спаси вас бог, сударь, не дали вовсе пропасть, – сказала меж тем хозяйка, опуская алый рукав и открывая взору Марко свое зарозовевшее от смущения лицо.

Если с ним содеялось такое смятение лишь при беглом взгляде на нее, что же было теперь, когда он увидел эти невероятно синие глаза, и начерненные полукружья бровей, и свежий маленький рот, и тугие щеки, и белую шею, стиснутую ожерельем, и плавные выпуклости под скромно застегнутым

травянисто-зеленым летником?! Да что это, что это с ним творится?! Марко разум теряет от желания немедленно обладать этой красавицей!

Или она – колдунья, мгновенно очаровавшая его?

Или просто женщины у него давно не было, а вчерашний поход в общественную царскую баню довел его возбуждение до крайности? Там было два отделения, мужское и женское, но проходили туда мужчины и женщины из раздевалок через одну дверь, встречались в предбаннике нагишом, закрываясь вениками; знакомые без особенного замешательства разговаривали между собой, а иногда разом выбегали из мыльни и бросались в озеро. Эта разительная противоположность между внешней суровостью манер русских женщин и таким невинно-бесстыдным поведением повергла Марко в полубезумие. Ночью, во сне, он обладал поочередно и враз всеми женщинами, которых вообще когда-либо встречал в своей жизни – в Венеции, Париже, Варшаве, Москве, – а утром, желая охладиться делами, ринулся, как за спасением, к новому знакомцу, русскому купцу... и вот поди ж ты, какую западню выстроил ему дьявол!

Нет, надо бежать. Надо бежать, пока он не изошел перед этой синеглазой русской Венерою, будто ошалелый от первой похоти юнец! Того и гляди, воротится супруг этой москвитянки – и пойдут клочки по закоулочкам. А она... она-то хороша! Ничем не лучше своей служанки: вперилась взором в его бедра – словно пальцами трогает напрягшееся естество!

Марко неловко повернулся боком, буркнув:

– Addio, signora! [1 - Прощайте, госпожа! (итал.).] – в полном уже безумии, не заботясь, поймет она или нет, ринулся к воротам – и ахнул, ударившись о твердое, как скала, тело высокого человека, преградившего ему путь.

Все. Все кончено. Пропал он...

– Господин Орландини! – возопил зычный голос, и мощные руки, вместо того чтобы схватить за горло, дружески обняли его плечи и затрясли с таким пылом, что голова замоталась взад-вперед. – Господин Марко! Сударь любезный! Ну, молодец, что пришел, а я, вишь ты, ковами [2 - Кознями (старин.).] дьяволовыми был от дела отвлечен. Пожар вспыхнул на складах, что у Яузы стоят, да, спаси

бог, вовремя я про свою невзгону прослышал! Вся дворня со мною ринулась, да с баграми, да с бадьями! Ну, господь оберег: за два только строения огонь до моего амбара не дошел. Добра погорело, скажу я тебе... – Говоривший отчаянно махнул рукой, но большое лицо его исказилось не гримасой горя, а довольной улыбкою.

Марко смотрел тупо. Он только теперь начал соображать, что нечаянной волею Провидения забрел именно на тот двор, который искал. А молодица, зазавшая его, не иначе жена его нового торгового партнера, Михайлы Воротникова.

Ревность, разочарование так и ударили по сердцу, а потому он не смог оценить значения торжествующей улыбки Михайлы и лишь проблеял в ответ что-то сочувственное.

– Да ты что? Оглох? – счастливым басом продолжал греметь Воротников. – Не слышал, чего говорено? Погорели нынче и Артамошка Гаврилов, и Никомед Позолотиков, и Сашка Рыжий! Там еще целы склады Крапивина да Ваньки Сахарова, но они нам не соперники. Что их товар противу моего? Все наши – соболи, да горностаи, да векши [З - Беличьи шкурки (старин.)] – знаешь, в какую цену теперь войдут?!

Мозги у Марко постепенно прояснялись. Пожар означает, что у него почти не остается конкурентов на московском меховом рынке и он теперь может диктовать свои условия что соотечественникам, что греческим купцам, которые ждут не дождутся завтрашних торгов, чтобы отправить домой последние обозы с пушным товаром этого года. Ан нет! Не будет никаких торгов! Все, что осталось в пушных амбарах, теперь принадлежит ему, Марко Орландини!

Ему, да – если, конечно, Михайла не выкинет какой-нибудь хитрой штуки. Эти русские... Они в делах ненадежны, как весенний лед. Скажем, золотых монет они сами не чеканят, а пользуются венгерскими, или рейнскими, или венецианскими дукатами, но стоимость их часто меняют. Марко уже сталкивался с их уловками: если иноземец хочет купить что-нибудь на золото, они тотчас уменьшают его стоимость, а если он нуждается в золоте, то русские, чая выгоду, так эту стоимость взвинчивают, что за голову схватишься. В торге норовят обмануть и при этом столько разводят ненужных разговоров!

Первая же сделка дала хороший урок.

Груз драгоценной посуды из муранского [4 - Мурано – остров в Венеции, где производят знаменитые стеклянные изделия.] стекла редкости невиданной, который привез Марко в Московию, надеясь обогатиться, русские встретили таким кислым выражением своих бородатых лиц, что любой озадачился бы. Хорошо, что земляки-итальянцы, которые строили Китай-город по воле правительницы Елены [5 - Елена Глинская, мать Ивана IV.], и ювелир Трифон из Катара, и мастер Аристотель из Болоньи, соорудивший церковь на главной площади Кремля, и другие знакомые торговцы из Неаполя, Падуи, Флоренции подсказали, что русские, по их же собственному выражению, «ваньку валяют», нарочно сбивая цену, и надобно с ними держаться твердо, а пока подождать немного.

Марко еще подождал, но, так и не обнаружив ни в ком интереса к своему товару, уже собрался ехать из России в Литву, как вдруг... Счастливый случай свел его с Михайлою, и тот предложил хороший безденежный обмен: стекло на меха. Это была прямая выгода, и Марко согласился с тем большей радостью, что оставались с носом все, кто собирался его надуть, к тому же Михайла, обходительный и радушный, пришелся ему по душе. Другие покупщики держались заносчиво с заморским торговым гостем. И простой, черный народ смотрел букой. Он, народ-то, искренне верил: все, что не русское, пропитано дьявольскою силою, и когда иностранные послы ехали по Москве, то мужики, увидя их, крестились и спешили запереться в свои избы, как будто перед ними очутились зловещие птицы или какие-нибудь пугалы; только смельчаки и решались подходить поближе.

К слову сказать, немногочисленная прислуга Михайлы Воротникова тоже всячески сторонилась Марко, но он очень скоро понял, что это для него – выгода и удача, ибо по причине сей никто за ним не подглядывал, не подсматривал... никто не мешал его свиданиям с Анисьею!

Случилось всего лишь то, что должно было случиться, что было predetermined с первого мгновения их встречи, когда Марко вдруг захлестнула ошеломляющая чувственность, которой так и дышало все существо этой женщины. То есть он сперва не понимал, что все дело в ней: думал, просто сам истосковался по мягкой, доступной плоти, по пряному бабьему запаху, по жаркому дыханию – так задыхаются, словно умирают, женщины на подступах к блаженству... Конечно, сначала полагал, что это он – хочет, вожделеет, алчет. Откуда ему было знать, что Анисья вот так чарует каждого, что нет на свете существа мужского пола,

кое хоть на миг не вообразило бы себя обладающим этой синеглазой, белолицей, улыбочивой бабенкой, источающей сладострастие так же безотчетно, как цветок источает свой аромат?

О нет, она держалась скромницей, и ежели на подворье и в доме своем не носила траура по недавно скончавшемуся мужу, то при редких выходах ее на улицу все блюлось чин чинном: почти монашеская строгость в одежде, никаких там красных рубах, самоцветных зарукавий, зеленых или синих летников: все, от черного платка до потупленного взгляда, соответствовало личине неутешной вдовицы, заживо схоронившей себя в четырех стенах. Сама же всю наслаждалась прелестями независимой вдовой жизни, и когда Марко сделал ей предложение (он дошел и до этого, Санта Мадонна!), Анисья руками замахала: окстись, мол! Нет, он ей нравился, безусловно. Она, быть может, его даже любила... как любила бы всякого, кто оказался способен раз за разом, неустанно тешить ее жаркую, вечно алчную плоть, насыщать эту ненасытимую темную пасть, что крылась меж ее белых ног. Но она просто не хотела идти замуж ни за кого!

– У нас ведь как? – ласково выговаривала Анисья Марко. – Жена – раба подневольная, а вдова – сама себе госпожа и глава семейства. Даже в законах сказано: горе обидевшему вдовицу, лучше ему в дом свой ввергнуть огонь, чем за воздыханья вдовиц быть ввержену в геенну огненную. А я теперь, слава богу, сама себе хозяйка. Хочу – живу у себя в Коломенском, хочу – у брата в Москве. Дочка со мной. Все с почтением глядят, никто не учит, никто под руку не суется, никакая холопская собака на меня не лает, мужу не наушничает. О побоях, слава те господи, думать забыла!

У нас говорят: кто не бьет жены своей, тот дом свой не строит, и о своей душе не радеет, и сам погублен будет, и в сем веке, и в будущем, и дом свой погубит. Мой-то, покойник, старался как мог! Еще спасибо, что по нраву ему была белизна кожи моей: синяков не ставил, кулаком или дрючком до смерти не молотил, только через платье дураком [б - Так называлась плеть, нарочно предназначенная для наказания жены.] охаживал да за волосы таскал. Но с меня и этого достало. Нет, не пойду сызнова под ярмо!

Ну что за жизнь у мужней жены? Сиди дома, как в заключении, знай себе пряди. Дочку родила, Дашеньку, – мой-то недоволен был, ох и гневался, что не сын! А она-то, милая моя, ну чистый розан, такая красота писаная! Нет, избил меня до полусмерти, а дочку кормилицам да нянькам отдал. Опять сиди, жена, в

светелке: пряди! Иной раз думала напрясть себе на удавку... нет, убоилась греха. А уж скука жить была – мочи нет! День и ночь в молитвах проводила, лицо свое слезами умывала. В храм божий – и то по большим праздникам... Еще того реже – на беседы со знакомцами, да и то ежели эти знакомцы – старичье немощное!

Ну что же, Марко мог понять сурового стража – покойного супруга Анисьи: грех у бабы так и лился из очей! Небось даже и почтенные старцы при виде ее невольно ерзали на своих вдруг впервые за много лет восставших мощах, страстно мечтая почесать блуд с этой Евиной дочкой, в этом сосуде скудельном!

Теперь-то Анисья была и впрямь сама себе госпожа. Живя у брата, который крепко ее любил и слова ей поперек никогда не говорил, да и вообще слишком был занят своими торговыми делами, чтобы вникать в хозяйственные, Анисья держала весь дом в своем пухлом, мягком кулачке и, надо отдать ей должное, блюла добро брата как свое собственное. Конечно, должна была всех раньше вставать и позже всех ложиться, всех будить – если служанки будили хозяйку, это считалось не в похвалу хозяйке, – зато была в доме полной властительницей. И слово ее было в отсутствие брата законом. И ежели она говорила, что после обеда идет в мыльню, а всем велит спать, то все и шли спать (старинный обычай послеполуденного сна или, по крайности, отдыха вообще свято блюлся на Руси, всякое отступничество считали в некотором роде ересью), и никто не выглядывал ни на заднее крыльцо, к которому в эту пору, хоронясь в тени забора, прокрадывался по огороду нечаянный гость... И самая любопытная девка не смела соваться в небольшую мыльню, размещенную в подклети, между кладовок, где разомлевшая хозяйка полеживала на лавке, накрытой полотном, уже согнув ноги; и стоило Марко стать на пороге, она нетерпеливо разводила их, вся выгибаясь и приподнимая бедра, так что те мгновения, пока он раздевался, вернее, срывал с себя и швырял как попало одежды, казались самыми долгими в его жизни. А потом он вспрыгивал на лавку, врывался в Анисьино тело, и добрых два-три часа они непрестанно, жадно, безумно ласкали друг друга, изливая свою похоть – и вновь, после мимолетной передышки, возгораясь. Это был какой-то беспрерывный круговорот конца и начала, начала и конца, когда, обмякнув, опустошившись, едва дыша, Марко вдруг слышал тихий смешок Анисьи, ощущал поцарапыванье ее ноготков по своему животу – и все мягкое, сонное вновь делалось каменно-твердым, боевым и начинало неумолимо ворочаться в жаркой тесноте, пока Анисья не заходила в протяжных столах, не стискивала его бедра коленями до боли... и вся сила его, вся жизнь, сама бессмертная душа, чудилось, собирались в самом кончике его обезумевшей плоти, чтобы вновь, и вновь, и вновь низвергаться в эту сладострастную бездну.

Марко вскоре осознал невероятное: желание Анисьи способно возбуждать его бессчетно, и ежели была б возможность лежать на ней сутки, двое... неделю, месяц, Марко ублаgotворял бы ее снова и снова – подобно Сизифу, который снова и снова вкатывал свой камень в гору, под стать Данаидам, опять и опять наполнявшим бездонную бочку, – пока не умер бы, так и не высвободившись из ее жадных коленей! Но в голове Анисьи словно бы петух пел в урочный час: стоило ей почувать, что уже истекает время послеобеденного отдыха, как она прохладно целовала Марко, выскальзывала из-под него и, едва позволив омыться и вытереться, выталкивала прочь с наказом уходить скорее, стеречься от нечаянного глаза – и непременно приходить завтра.

Марко брел на подгибающихся ногах, не думая об осторожности, совершенно изнемогший. Встретясь ему в такую минуту Михаил, потребуй объяснений – и губами не смог бы шевельнуть, не то что отбиться в случае нужды! Но почему-то уже через четверть часа силы возвращались к нему, мышцы крепили, воспоминания о белопенной Анисье оживали в голове... а в штанах твердел, оживал, наливался нетерпеливой силой тот кусочек его тела, который только что казался навеки изнемогшим, опустошенным, умершим. И Марко с суеверным восторгом, который был сродни ужасу, думал, что не иначе она зачаровала его. Околдовала!

Она могла... Марко не сомневался, что Анисья все могла!

Они редко говорили, но порою все же хватало времени не только для объятий. Однажды Анисья дала Марко шелковый мешочек, в котором тонко и сухо что-то шелестело, и сказала, что это – трава осот, весьма большое подспорье в торговых делах. Марко верил только в свою удачу, но подарок принял с благодарностью. Только святая мадонна знает, в чем крылась причина – в удаче или в осоте, но невозможно было не заметить, как улучшились вдруг его дела! Мало того, что Михайла не изменил слову и не взвинтил цену на свой товар, не передал его другому покупателю, хотя мог теперь, после пожара, выбирать. Марко продал меха с такой выгодой, какой даже предположить не смел в самых радужных мечтах. Он мог бы уже возвращаться в Венецию, но рассудил, что прежде возьмет партию хорошего товара, например, меду. Опять пришлось подождать немного... до конца лета.

Разгоряченная плоть одобряла такое решение – в самом деле, как это так, вдруг расстаться с Анисьей? Да разве они уже довольно натешились друг другом? Нет, Марко подождет. И до исхода лета, и до глубокой осени, потому что это значило увезти с собой не только мед, но и чистейший воск. А потом вдруг явилась ему в голову отличная мысль: прикупить еще мехов на первых зимних торгах! И опять новая – да еще какая догадка: а зачем вообще ждать торгов в Москве? Не лучше ли поехать с Михайлой по охотничьим угодьям, где можно набрать меха вдвое, втрое, вчетверо дешевле? Впрочем, он уже тогда знал, что никуда не поедет: посулит хороший барыш Михайле – и зашлет его по знакомым промысловикам, а сам останется.

Останется с Анисьей.

Дни шли за днями, и он все больше привязывался к своей чаровнице. А Анисья... Анисья не замыкалась в загадочном молчании, не заводила глаза к небесам, не играла во внезапные охлаждения – все эти мелкие ухищрения женского кокетства были ей чужды. Бесстыдно откровенна была московская купчиха в желании наслаждаться своей молодостью, красотой, любовью – и также молодостью, красотой и любовью Марко. Но с пылкостью и сладострастностью взрослой, опытной, вечно неудовлетворенной женщины уживались в ней легкость нрава, почти девчоночья простота. Так, она старалась для приличия уменьшить тяжесть греха: снимала с себя крест, готовясь к встрече с любовником. Марко знал, что некоторые супруги, прежде чем ложиться в постель, завешивают даже образа, но в мыльне-то образов ни у кого не водилось, а крест, входя в столь опасное место, православные и так снимают. Вот грех и творился шито-крыто.

Виделись любовники на неделе по несколько раз, и никакой прыткий ум до сих пор не догадался об их встречах, никто не озаботился, почему Анисья велит готовить себе мыльню чуть не каждый день, да вдобавок в неурочную пору – во время послеобеденного отдыха. Впрочем, Марко уже знал о пристрастии русских к баням. От всех болезней лечились в банях; после ночи, проведенной супругами вместе, считалось необходимым сходить в баню, прежде чем подойти к образу. Но в конце июня сделались вдруг такие жары, что вышел указ – запретить топить мыльни, кроме царских, общественных, дабы избежать пожаров. Прослышав об этом, Марко впал было в отчаяние, но все же потащился вечером к Воротникову за каким-то выдуманном делом. Первым, кого он увидел на дворе, был сам Михайла, сидевший на крыльце босой, в одной лишь белой

полотняной рубаше (дома Михайла вообще ходил просто, но сундуки у него не пустовали: он как-то показывал Марко свои богатейшие, поистине царские одежды из золотой парчи и алого дамаскина, подбитые прекраснейшими соболями!), красный, распаренный, с мокрыми волосами – и попивавший мед. Он явно только что слез с полка и был весьма доволен жизнью.

– Что же, что указ! – ухарски сверкал глазами Воротников. – Мы своевольничаем. Баня... как без нее! Баня для нас такая необходимость, что все москвичи посулили из своих домов изыти в чистое поле, коли нам не дадут бани топить!

Захмелевший Марко едва не заплакал от умиления таким пристрастием к дедовским обычаям. А уж когда появилась равнодушно-скромная, приветливая Анисья в новом лазоревом летничке да белой рубаше, прикрывавшая свою косу цвета спелой пшеницы лишь легоньким платочком, будто незамужняя девица, то и вовсе счел себя счастливейшим из смертных. Тогда-то и озарило его послать Михайлу на покупку пушнины одного – а самому остаться в Москве.

Святой Марко, покровитель его родного города и его самого, не дал бы соврать: Марко с охотой повел бы Анисью под венец и назвал ее не только возлюбленной, но и матерью своих детей, когда б не ее явное нежелание брака (не с ним, а вообще брака!). Не побоялся бы и той власти, которую Анисья над ним взяла. Нет, не зря чудились ему в этих глазах-озерах колдовские чары... Анисья знала не только травы, для дела спорые, но и множество совершенно диковинных вещей. Как-то при ней Михайла завел разговор о горностаевых шкурах, которые имеют какие-то знаки вокруг головы и хвоста, по коим можно узнать, в надлежущую ли пору пойман зверь и не вылезет ли мех. Анисья слушала, слушала, прилежно нанизывая бисер, а потом вдруг прервала свое молчание и спросила таинственно:

– А ты, брат Михайла Петрович, покажешь ли гостю мех баранец?

– Бабы сказки! – буркнул Михайла, отчего-то вдруг осердясь, но Анисья не обратила на сие нимало внимания и, проворно соскочив с сундука, на котором сидела, выхватила из-под крышки премохнатую шапку с ушами, пошитую из какого-то диковинного желтовато-зеленоватого меха, похожего на мех енота своей длинной остью, и принялась уверять, будто сей мех принадлежит баснословному животному-растению по имени баранец, кое живет в низовьях Волги. Редкость эта приносит плод, похожий на ягненка. Стебель его проходит через пупок и возвышается над землю на три пяди. Ноги у баранца мохнатые,

рогов нет, передняя часть – как у рака, а задняя – чистое мясо, которое народы, в тех местах обитающие, охотно принимают в пищу. Баранец живет не сходя с места, пока имеет вокруг себя траву, которую сгребает своими клешнями. А ежели прохожий человек сядет по нечаянности с ним рядом, баранец может и укусить!

Марко, слушая сие, перетряхивался от брезгливости, воображая это такое мясо-меховое чудище, но по купеческой привычке все-таки прикидывал – как хорошо, ах, как хорошо было бы добыть сего баранца, ибо связанная с ним история, кстати рассказанная, способна значительно поднять цену меха! Озадачило поначалу неприкрытое недовольство хозяина, но потом Марко понял: тот просто боялся за сестру, ибо всяческое ведовство и зелейничество сурово каралось не только в странах католических, но и в православной Московии, а Анисья... Анисья, конечно, была не простая женщина, а, как здесь говорили, вещая женка. И овдовела не сама собою, как другие, а извела своего мужа, сжила-таки со свету!

Марко знал сие доподлинно: Анисья призналась в одну из тех минут особенной, всепоглощающей откровенности, которые редкость даже между любовниками.

– Ну и что? – даже глазом не сморгнула Анисья. – Порчу навела на ветер, да! Взяла горсть пыли, бросила вслед ему по ветру, сказала: «Ослепи, невзгода, моего супостата, воронные, голубые, карие, белые, красные очи! Раздуй его утробу толще угольной ямы, высуши его тело тоньше луговой травы, умори его скорее змеи медяницы!» И все. Как сказано было крепко – так оно и вышло по моему! Скрутила муженька хвороба лютая – и загнулся он в одночасье!

– Что ж, и на меня порчу наведешь, ежели тебя бить стану? – усмехнулся Марко, и Анисья в ответ закатилась смехом: еще всем на Москве была памятна потешная и печальная история о том, как бьют русских жен иноземные мужья! Героем ее, кстати сказать, тоже был итальянец, женившийся на русской и живший с нею несколько лет мирно и согласно, никогда не бивши и не бранивши. Однажды она спросила его: «За что ты меня не любишь?» – «Я люблю тебя», – сказал муж и поцеловал ее. «Ты ничем не доказал свою любовь!» – сказала жена. «Чем же тебе доказать?» – спросил он. Жена отвечала: «Ты меня ни разу не бил». – «Я этого не знал, – ответственвал муж, – но если побои нужны, чтобы доказать тебе мою любовь, то за этим дело не станет». Он побил ее плетью и в самом деле заметил, что жена сделалась нежнее и услужливее. Он поколотил ее в другой раз так, что она после этого несколько дней пролежала в

постели, но, впрочем, не роптала и не жаловалась. Наконец в третий раз он поколотил ее дубиной – да так сильно, что она после этого спустя несколько дней умерла. Ее родные подали на мужа жалобу, но судьи, узнав все обстоятельства дела, сказали, что она сама виновата в своей смерти; муж не знал, что у русских побои значат любовь, и хотел доказать, что он любит сильнее, чем все русские: ради этой любви он не только бил жену, но и до смерти убил!

– Ну а чем женщина свою любовь доказывает? – спросил Марко, отсмеявшись.

– Аль не знаешь чем? – тихо спросила, блеснув в улыбке зубами, Анисья, и они снова надолго перестали разговаривать... И только потом, когда Марко, истомленный, счастливый, лежал навзничь, бормоча ставшее уже привычным: «Ох, да что же ты со мною сделала!» – Анисья пресерьезно выпалила:

– Приворожила, что ж еще!

– При-во-ро-жи-ла? – по складам повторил Марко неведомое слово, и Анисья простодушно и бесстыдно объяснила:

– На мыло наговаривала: мол, коль скоро мыло смывается, так бы скоро и Марко, красавец да прелестник, меня полюбил. И еще на соль: мол, как люди соли желают, так бы и он меня пожелал! И на ворот рубахи твоей шептала: мол, как ворот к телу льнет, так и Марко, душа моя, льнул бы ко мне, рабе божией Анисье!

И снова взыграли в нем силы желания, и прильнул он к своей любушке, как ворот к телу льнет, желая ее так же, как люди соли желают... И любовь, чудилось, будет длиться вечно... но скоро предстояло ему убедиться, что нет ничего вечного под солнцем: может быть, оттого, что Анисья-то его приворожила, а он ее – нет!

Михайла Воротников накануне своего отъезда на охотничьи промыслы заявил, что довольно сестре утомляться с безалаберной прислугой – он намерен взять в дом ключника, да такого, чтоб всю дворню в железном кулаке держал! Выразив сие пожелание, Михайла отправился ключника нанимать – и позвал с собою Анисью да Марко, как человека вполне уже в доме своего.

Венецианец воображал, что найм сей произойдет на какой-нибудь ярмарке, в подобии торговых рядов, где простолюдины, желающие получить работу, будут выхвалять свои умения, как столяр, кузнец или квасник выхваляют свои изделия. Они и пошли в торговые ряды, только не в город, а на Москву-реку.

Был конец октября, и вода в реке по рано наступившим холодам уже замерзла, так что прямо на льду были поставлены лавки для разных товаров. Вот в этих-то лавках ежедневно, а не только по воскресным базарным дням, и продавалось огромное количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких других необходимых товаров. По осени владельцы коров и свиней били их на мясо и везли на Москву-реку на продажу. Марко с души воротило, но Михайла с Анисьей долго еще бродили меж рядов. Марко решил, что они ищут будущего ключника среди мясников, однако вскоре все разъяснилось: его знакомцы просто-напросто ожидали начала кулачной забавы.

Марко уже приходилось видеть, как, созываясь условным свистом, русские вдруг сбегаются – и без видимой причины, как бы ни с того ни с сего, вступают меж собою в рукопашный бой. Начинали они борьбу кулаками, но вскоре без разбору и с великой яростью принимались бить друг друга ногами – по лицу, шее, груди, животу и детородным частям. Противника силились победить каким только можно способом, не стесняясь в средствах и силе ударов, словно бы не забавлялись, а истребляли лютых врагов... Многих уносили бездыханными, а оставшиеся на поле боя являли собою как бы продолжение мясных рядов, столько там было разбитых в кровь лиц.

Наблюдая за этой грубой забавой, Марко едва сдерживал тошноту, Михайла же с сестрою откровенно любовались зрелищем, громогласно обсуждая стати то одного, то другого бойца и споря о том, кто останется победителем. В конце концов случай рассудил брата с сестрой: ражий да рыжий богатырь, уже одолевший всех своих супротивников, изготовился нанести губительный удар последнему храбрецу, как вдруг тот сделал обманное движение, выставил ногу, подсек силача под коленку... ноги у того разъехались, и он грузно грянулся на обе лопатки, что означало бесспорное поражение.

Силач так и валялся, то ли не в силах осознать случившееся, то ли оглушенный падением, а зрители рукоплескали победителю, не нанесшему ни одного удара, но стяжавшему все лавры. Михайла и Анисья протолкались к нему поближе; Марко потянулся следом.

Это был румяный парень – с красивым и дерзким безбородым лицом. Хоть голые подбородки лет полсотни уже мелькали в русской толпе, с тех пор как великий князь Василий Иванович, желавший понравиться своей молодой жене Елене Глинской, ввел в обычай бритье, но Стоглав [7 - Церковный собор, часто носивший законодательный характер.] вопиял против этого, и к человеку безбородому многие русские имели недоверие и считали его способным на дурное дело. С недоверием глядел на удальца и Марко, словно позабыв, что сам отрастил маленькую курчавую бородку, обливающую челюсти, лишь для того, чтобы угодить Анисье, которая с ума сходила от удовольствия, когда любовник не только целовал, но и пощечивал ее сдобный животик. Марко словно бы сделался в одно мгновение яростнейшим приверженцем старинных обычаев и не мог понять, отчего с таким беспечным восторгом плятятся русские на этого хитреца. Ведь не силой, а именно хитростью досталась ему победа!

Но Михайла уже схватил победителя за руку:

– Как имя твое, добрый молодец?

– Ванька, – отвечивал молодец. – Иван, стало быть.

– По нраву ты мне, Иван, пришелся, – прямо и откровенно, как делал он все, выпалил Михайла. – Не хочешь ли, коли от прочего-иного дела свободен, пойти ко мне в наймы и сделаться ключником?

Ни тени замешательства не мелькнуло на красивом, словно бы из серебра вычеканенном лице!

– Ключником? – с усмешкою переспросил Ванька. – А что ж! Отчего б не пойти, коли просишь? Только обозначь, какое положишь жалованье.

– Давай порядимся, коли согласен! – с явной радостью воскликнул Михайла. – Но как ты мне люб, то я тебя не обижу. Думаю, сойдемся в цене. Понимаю сам, что хлопот тебе много принять придется: я-то днями отправляюсь по делам, по купецкому своему промыслу, а ты у сестры будешь под началом.

– У сестры-ы?! – хитровато промурлыкал Ванька. – Молодка что ж, не женка твоя, а сестрица? Коли так, столкуемся! – И с бесовским лукавством он воззрился на Анисью, которая, только что прикрываясь краем фаты, вдруг опустила тонкий

шелк и прямо взглянула в глаза будущего ключника.

Нет, она не улыбалась приманчиво, не играла глазами – глядела оценивающе, как на товар, и когда вишневые губы ее чуть дрогнули в улыбке: товар явно был одобрен! – какой-то вещей холодок прошел по плечам Марко, и недоброе предчувствие заледенило его душу. Ох, да надо было оказаться последним дураком, чтобы не понять, чем это кончится!

Тем оно и кончилось.

* * *

...Ванька более не шевелился. Анисья-то уж давно затихла, но Марко все никак не мог от нее отойти. Ежели б она вдруг шевельнулась, открыла глаза... О, тогда бы все разлучившее их, все позорное, изменническое, тлетворное тотчас бы исчезло, развеялось словно сон, и они снова бы стали принадлежать друг другу так же безраздельно и безмятежно, как прежде.

Но она не шевелилась. Она была мертва, и к ужасу Марко перед свершившимся примешалась жгучая обида: Анисья не пожелала отозваться, вернуться к нему – она умерла, принадлежа другому, она предпочла другого! А ведь когда-то он мечтал жизнь провести с нею рядом, он желал умереть вместе с ней и быть похороненным в одной могиле!

Глупец. Безумец! Правы русские, что не верят в честь женщины, если она не сидит дома взаперти. В Московии не признают женщину целомудренной, если она дает на себя смотреть посторонним или иноземцам, запальчиво думал Марко, не осознавая трагической смехотворности своих мыслей – ведь этим иноземцем был он сам! Сумасшедшим иноземцем, спятившим от страсти, которую эта женщина сначала внушила, а потом растоптала так же походя, как топчут траву или цветок, не заботясь о его красоте.

Он положил ладонь на еще теплый живот Анисьи, задумчиво перебрал пальцами пахучие, курчавые волосы, влажные от любовной росы. И завыл от ярости, от вновь вспыхнувшей ревности...

Стоило только вспомнить, как целовал ее лоно, припадал к нему губами, вытягивая по глотку сладостную страсть, доводя Анисью до исступления своими рассчитанно-медленными ласками, и когда отрывался, чтобы дух перевести, видел только ее тугие груди, вздымающиеся к небу, острые от желания соски, запрокинутую голову... Такой она и предстала перед ним нынче, только лежала не на расшатанной их любовными битвами банной лавке, а на своей постели, где ни разу его не приняла, и меж бедер у нее поигрывал губами и языком белокурый бес, ключник Ванька. И почему-то пуще острого ножа ударила Марко по сердцу догадка, что неотесанного русского научила утонченным ласкам сама Анисья... а кто научил ее?! Она отдала другому то, что принадлежало только им двоим, Марко и ей, и этот русский быстро освоил науку: Марко видел, как млеет Анисья, видел, что рот ее приоткрыт в крике восторга, глаза закатились в истоме... И когда Марко ее прикончил, чиркнув стилетом за ухом, Анисья, наверное, даже и не поняла, что умирает на самом деле, а не от удовлетворенной похоти.

Как она стонала на ложе страсти, чуть дыша: «Ох... умираю, милый... а ну еще...» Теперь и впрямь умерла!

Марко стиснул руками лоб. Пальцы были ледяные, а голова горела. Он убил, убил их, посмевших... он убил их, но почему у него такое чувство, словно убил он не Ваньку с Анисьей, а себя самого – себе отомстил?

Надо было дать время Анисье понять, что происходит. Надо было заставить ее мучиться!

Он укусил себя за кончики пальцев, так хотелось видеть чьи-нибудь страдания. Все равно чьи. Мучительно хотелось! В этом было спасение от ужаса и боли. Вот ежели б Михайла оставался дома, Марко порадовался бы, глядя на его слезы, слушая его горькие причитания по сестре. Но Михайлы нет. Заплакать разве самому?

Он опять погляделся в зеркальную крышечку ларца. Его ли это лицо? Глаза горят черным пламенем, брови изломаны, и взор какой-то косой, вороватый...

Марко испугался безумия, которое увидел в собственных чертах. Швырнул ларчик об пол, да так, что он с треском развалился. Раскатился жемчуг, рассыпались самоцветы, запрыгали по полу малахитовые, округло обточенные

бусинки. Вот забава для дитяти...

И вдруг его словно ожгло. Он понял, как отомстить Анисье! Говорят же, что сразу после смерти душа еще вьется над телом, не в силах отдалиться от него. Значит, Анисьиная душа откуда-то глядит – может, вон из того уголка под потолком! – наслаждается страданиями своего убийцы. Марко погрозил кулаком в этот угол – и расхохотался. Недолго, недолго тебе наслаждаться!

Он лукаво посмотрел в мертвое Анисьино лицо и выскочил в тесный коридорчик, пытаюсь вспомнить расположение комнат. На втором этаже только горница, да крестовая комната (что-то вроде домашней молельни), да светелки-спальни: Анисьиная, Михайлова (теперь пустая) – и еще одна. Дочери Анисьиной! Дочь-то и надо Марко!

Ему и потом, много лет спустя, было стыдно той первой мысли, пришедшей в голову, когда он увидел худенькое тельце, свернувшееся клубочком в пуховиках. Но нет, он ненавидел эту девчонку от всей души, но не хотел ей зла: он хотел мести, а потому, сорвав ее с постели, потащил было в соседнюю комнату, где еще витала душа изменницы Анисьи, чтобы увидела та, как закричит, забьется девочка на трупе, как зайдет в корчах ужаса... Но вопль ужаса, раздавшийся за стеной, пригвоздил Марко к месту.

– Спасите, люди добрые! Спасите, кто в бога верует!

О дьявол... Это голос служанки, Анисьиной служанки! Какая злая сила принесла ее в полночь – за полночь в опочивальню госпожи?! Она весь дом своим воплем переполошила! Сейчас затопают по коридорам, ворвутся, схватят...

Не выпуская девочки, которую он держал под мышкой, локтем зажимая ей рот, Марко подскочил к двери, опустил засов. А теперь? А дальше что? Перед мысленным взором с невероятной быстротой промелькнула виденная месяц или два назад казнь убийцы. Тоже мужик хаживал к любовнице, чужой бабе, да и прибил ее, когда она отказалась с ним встречаться и впредь. Все точь-в-точь как у Марко, и, надо полагать, кара его настигнет точь-в-точь такая же: посадят его, связанного, на тачку и, пощипывая железными клещами, повезут до Поганой лужи. А там отрубят руки, после чего четвертуют, и четыре части тела будут развешаны в четырех разных местах Москвы, руки же, учинившие убийство, пригвоздят к стене ближней церкви...

Не бывать этому!

Ринулся к окну, рванул створки. Посыпались слюдяные вставки, расписанные разноцветно травами, листьями, сказочными чудовищами. Марко усмехнулся с презрением, вполне понятным для жителя города, где стекло было красивой обиходной игрушкой. Мечтал подарить Анисье настоящие венецианские стекла для ее светлицы... И мысль о мести вдруг снова овладела всем его существом, заставив даже позабыть о страхе.

Что-то толкло, реяло, мешалось в голове, какие-то замыслы клубились, точно грозовые тучи, но ежели б кто-то всеведущий взял на себя труд проникнуть в эту сумятицу и разложить все по полочкам, он добрался бы до имени Гвидо. Гвидо – так звали младшего брата Марко Орландини, единственного человека, которого тот любил, – пока в один черный день Анисья не перешла дорогу этой братской любви. Гвидо недавно исполнилось десять лет, и вот уже два года, как он жил в Риме, в монастыре Святого Франциска, куда отдали его по обету отца, в благодарность за чудесное выздоровление старшего Орландини от чумы. Отец уже и тогда был глубоким стариком, так что выздоровел он и впрямь чудом. Потом, после смерти отца, и Марко частенько посещала святотатственная мысль: а не слишком ли большая цена за год – всего-то! – жизни дряхлого старца? Гвидо не прижился в монастыре, но уже в свои десять лет принимал свершившееся как неизбежность и, кажется, готов был терпеть эту каждодневную, незаслуженную кару до смерти. Да, жизнь монастырская для существа юного – адская мука на земле, и вот этой самой муке Марко и намеревался подвергнуть дочь Анисьи, наказав через нее мать-изменницу.

Православную – в католический монастырь! Славная, поистине дьявольская шутка...

Но девчонка как-то слишком уж безропотно обвисала под его локтем, и он испугался – не придушил ли ненароком? Нет, это было бы слишком легко, слишком просто, да и не нужно, это нельзя было допустить, и Марко встряхнул ее, заглянул в лицо. Слава пресвятой мадонне, жива еще, но едва дышит от страха: светлые серо-голубые глаза обесцветились, залитые слезами, в которых отражается-перемигивается огонек лампадки да лунный неживой свет.

– Молчи, не то убью, – прошипел Марко, с трудом подбирая слова. Он знал по-русски лишь самые простые обиходные и деловые выражения, необходимые ему в торговле, да еще уйму разных нежных, ласковых, потайных словечек... Злу, угрозе просто не было места в его лексиконе! Однако девчонка поняла: слабо мигнула, тяжелые слезы покатались по щекам, но она даже не осмелилась вытереть их.

Такое послушание порадовало Марко. Он так же грозно велел ей одеться потеплее, и за ту минуту, пока девчонка торопливо натягивала на себя какое-то тряпье, схватил резной сундучок, похожий на большой печатный пряник: Анисья рассказывала, что, когда родилась дочь, она сделала ей особый сундучок, куда откладывала кое-что на приданое. Ценности – это было хоть какое-то воздаяние за мучения, которые он претерпел от Анисьи. Жаль, конечно, что уже нельзя добраться до опочивальни Михайлы, заглянуть в его сундуки. Тут же Марко вспомнил, что брат Анисьи, уезжая, почти все свои капиталы отдал на сохранение в монастырь – так называемой поклажею, – а что осталось, взял с собою на покупку мехов. Венецианец зло скрипнул зубами: не могла, что ли, Анисья слюбиться с этим распроклятым ключником еще до отъезда брата, коли так уж было суждено?! Тогда хоть деньги Марко оставались бы при нем! А что, вполне может быть, что эти двое сваялись в первую же ночь, когда Ванька переступил порог Михайлина дома: достаточно вспомнить, как они смотрели друг на друга там, на льду, среди окровавленного мяса!

Марко едва не взвыл от нового удара ревности в сердце, и только мысль о том, что теперь Анисья с Ванькою сами сделались не чем иным, как окровавленным мясом, принесла небольшое облегчение и просветление мыслям. Топот на лестницах делался, однако, все громче: вот-вот кто-нибудь сообщит, что убийца еще в доме, и прислуга начнет ломиться подряд во все двери. Нет, надо следовать той воинской повадке русских, о которой Марко знал по слухам: все, что они ни делают, нападают ли на врага или бегут от него, совершается внезапно и быстро, – и решил поступить совершенно так же. Но куда броситься?

По бревенчатым стенам со второго этажа он спустился бы и с закрытыми глазами... Но теперь на одной руке он тащил девчонку, а другой цеплялся за примороженные бревна.

Луна посеребрила сугробы, и все вокруг, чудилось, звенело от стужи, но венецианец и в тонком камзоле не чувствовал холода. А когда ступил на землю, обдало настоящим жаром. Вспомнил – его короткий легкий полушубок остался,

брошенный, валяться на полу Анисьиной опочивальни.

Ну, теперь уж точно надо бежать из Москвы, и поскорее! Непременно, когда обнаружат полушубок, вспомнят, кому он принадлежал. Тут уж не отговоришься, не оправдаешься – в момент вздернут на дыбу, потащат на правож...

Мелкая, противная дрожь пробежала по телу. Ничего, какое-то малое время у него еще есть. Добежать до дому, где он стоял на постое, взять вещи, деньги. Мало, ох мало денег! Но зато он спасет жизнь, а в Венеции еще выручит хорошую плату за девчонку. Зачем, в конце концов, делать ее послушницей? Много чести этой мужичке! Марко продаст ее в услужение, в рабыни. В монастырские прислужницы!

От этой мысли на сердце сделалось легче. Каково-то теперь Анисье, так любившей дочь? И каково будет ей глядеть с небес на мучения маленькой рабыни?

Он думал – а быстрые ноги уже несли по знакомой тропе, кончавшейся забором-частоколом. Вот выломанная жердь, вот пролаз. Проскочил сам, протащил за собой девчонку. Она запуталась в полах, упала. Марко зло дернул за руку... Он знал, что придется ехать все время по лесам, терпеть всевозможные неудобства и трудности, но всякое неудобство сейчас уже не казалось таковым. Лишь бы успеть уйти. Вместе с девчонкой. Porco diavolo, но не отомстит ли он сам себе, взваливши на плечи такую ношу?! Впрочем, дело сделано, деваться некуда... Как говорят эти варвары: вдвоем в дороге веселее. И снова мысль о том, как страдает сейчас душа Анисьи, согрела его измученное существо.

Девчонка, покорно семеня рядом, тихонько всхлипнула. И Марко вновь пробормотал слова, которым суждено было стать их постоянными спутниками в этом долгом, мучительно долгом пути от Москвы до Венеции:

– Молчи, не то убью! Эй ты... как твое имя?

– Даша. Дашенька. Я...

– Молчи, не то убью!

Это было все, что он хотел знать о ней. И довольно, довольно слов!

Венеция, 1538 год

1. Выбор великого Аретино

- Ты совершенно уверен, Пьетро, что больше не хочешь меня?

Молодая дама с распущенными черными волосами, в которых сверкали алмазные нити, медленно поднимала край своего багряного плаща – так, что открывалась прелестная ножка в кружевном, туго натянутом белом чулке, обутая в бархатную алую туфельку. Спереди у туфельки красовался затейливый вырез, на чулке тоже был вырез, так что виднелись беленькие маленькие пальчики. Ногти же покрывал густой кармин, и когда пальчики шевелились, они напоминали каких-то необычайных красноголовых насекомых или тычинки росянки – того самого цветка, который пожирает мушку, неосторожно забравшуюся в его чашечку. А впрочем, в шевелении этих хорошеньких накрашенных пальчиков было что-то весьма волнующее, поэтому неудивительно, что мужчина, раскинувшийся в кресле напротив дамы, взирал на ее ножку с любопытством.

Дама между тем подтянула свой багряный плащ так высоко, что над расшитой золотыми узорами подвязкой показалось тонкое белое колено и даже часть бедра, и бросила выжидательный взгляд на мужчину. Тот поощрительно улыбнулся, но не двинулся с места. Тогда дама проворно сбросила туфельку и вытянула ногу над полом. Повертела ею, словно любясь стройностью лодыжки, округлостью икры и высоким подъемом, а потом, чуть подвинувшись в кресле, коснулась шаловливыми пальчиками складок ткани, которые прикрывали заветное место мужчины, сидевшего напротив нее.

Тот вопросительно вскинул брови, но не отстранился от будоражащего прикосновения, а только шире раздвинул ноги.

Заметив столь явное поощрение, дама проворнее зашевелила пальчиками, норовя зацепить шнурки гольфика, и когда ей это не удалось, лицо ее приняло такое озабоченное выражение, что мужчина не выдержал и рассмеялся:

- О Цецилия, ты прелесть! Ты просто прелесть! Прошу тебя, продолжай.

Дама удвоила старания и скоро, издав короткий радостный вздох, зацепила витой золоченый шнурок, дернула за него - и выпустила на волю мужское естество, но не убрала ногу, а продолжала гладить и ласкать мужчину до тех пор, пока дыхание его не участилось и он не произнес голосом, в котором сквозило явное наслаждение:

- Обещай, что ты научишь ее делать так же!

Дама усмехнулась:

- Этому невозможно научить, Пьетро. Это или есть у женщины, или нет. Что ты будешь делать, если твоя красавица окажется не очень способной ученицей?

- Я буду дрессировать ее, как жонглер дрессирует свою собачку. Впрочем, одного раза мне будет достаточно, чтобы уяснить, на что она способна. Может быть, мне не захочется тратить на нее силы, и тогда...

- И тогда? - переспросила дама, затаив дыхание, но не переставая между тем трудиться над вздымающейся мужской плотью. - Что тогда, Пьетро?

- Тогда я попрошу тебя раздвинуть для меня свои хорошенькие...

- Хорошенькие - что? - бесстыже улыбнулась дама. - Ножки? Или губки?

- И то, и другое, - ответил мужчина. - О-ох, Цецилия! Зачем ты это делаешь, бога ради? Чего ты добиваешься? Ведь сегодня ночью я должен быть силен, как десять похотливых козлов, а ты вынуждаешь меня потратить силы заранее!

- Но мы ведь дадим девчонке вина, не так ли? - вкрадчиво промурлыкала дама, задирая свой тяжелый плащ так, что стало видно, какого цвета поросль внизу ее живота: черная, как смоль, и курчавая. - И ничего ведь не изменится, если с ней

для начала побывает не десять, а девять похотливых козлов.

– И куда же денется десятый? – спросил мужчина, которого, по всему было видно, этот разговор возбуждал ничуть не меньше, чем распутные прикосновения.

– Вот сюда, – промурлыкала дама, показывая пальцем на кудрявое украшение своего животика. – Ну же, Пьетро! Или ты уже сделался стариком?! Да ведь еще полгода назад ты мог удовлетворить пятерых сестер подряд, а потом еще хватало сил для аббатисы!

– Просто я боюсь, что если начну с аббатисы, то уже не захочу касаться сестер! – захохотал мужчина, резко вскакивая с кресла. Меч его вызывающе торчал. – Ну, так что ты предпочитаешь раздвинуть, моя прелестная Цецилия?

Цецилия закинула ноги на подлокотники кресла с проворством, выдающим частую практику, и мужчина опустился на колени меж ее широко раздвинутых бедер.

– О Пьетро... Пьетро! – тоненько взвыла она, вцепляясь ногтями в его спину с такой силой, что по светло-зеленому бархату камзола протянулись рыхлые бороздки. Голова ее запрокинулась, глаза крепко зажмурились, и на лице мужчины промелькнула снисходительная усмешка. Сколько Пьетро помнил, Цецилию всегда легко было удовлетворять, но потом она разгоралась снова. Многие из ее любовников (у Цецилии всегда было их несколько одновременно) очень ценили это ее свойство, позволяющее им, не тратя много сил, показывать себя с лучшей стороны и слыть галантными кавалерами. Но Пьетро был одним из тех немногих, которым нравится долгая любовная игра, нравится преодолевать внутреннее сопротивление женщины, порою чуть ли не силком подводя ее к воротам блаженства. Пьетро сам любил обучать искусству любви и получал от долгожданного восторга своей возлюбленной едва ли не большее удовольствие, чем от собственного завершения, которое искусно продлевал и отдалял до тех пор, пока терпеть уже становилось непереносимо. А мгновенный экстаз, подобный тому, который испытывала Цецилия, разочаровывал его и даже расхолаживал. Вот и сейчас он почувствовал, как исчезает пылкость, – но дама бросила на него томный, выжидательный взгляд из-под увлажненных ресниц, и Пьетро стало стыдно обмануть ее ожидания.

Он протянул руку и рванул ворот багряного, чувственного плаща, который плотно окутывал грудь и плечи Цецилии. Но не зрелища нагого женского тела искал он! Стоило ему увидеть полоску черной ткани и вообразить на месте Цецилии другую женщину, тоже одетую в черное, представить ее нежное лицо, свежие губы, расцветшие стыдливым румянцем щеки, заставить себя увидеть не черные, а серо-голубые, прозрачные, словно редкостный агат, глаза, окаймленные длинными ресницами, – и Цецилия ощутила, как извергся в нее всевластный, желанный, непостижимый и недостижимый Пьетро Аретино. Великолепный кавалер, который сегодня прощался с нею для того, чтобы взять к себе другую даму, сорвать другой цветок с этой же клумбы, заманить другую птичку из этого же гнезда!

И она тихонько вздохнула, поняв: ее звезда на небосклоне этого мужчины, самого привлекательного из венецианцев, если и не закатилась вовсе, то поблекла настолько, что Аретино вряд ли разглядит ее среди других. Но нет, все-таки она была счастливее других, покинутых им: она еще нужна ему, пусть не для постели, но как поставщица постельных утех, как сводня, как некое связующее звено между ним и той, которую он вождедел ныне так неутомимо и страстно, как... как всех несчетных красавиц, бывших в разное время его любовницами. Каждая из них была любовью, каждая из них сияла звездой, каждая могла считать себя единственной! Иначе он не мог, Пьетро Аретино...

Цецилия вздохнула, приходя в себя, и пробормотала сквозь зубы проклятие своей печальной задумчивости. Это надо же! Она все еще полулежит в кресле, как последняя дура, с разведенными ногами, а Пьетро уже давно застегнул штаны и с плохо скрываемой усмешкой разглядывает ее усталые прелести!

Путаясь в просторных одеяниях, она быстро вскочила и, бросив ледяной взор на любовника, схватила со стола маленький стеклянный колокольчик.

Тотчас вслед за мелодичным треньканьем распахнулась дверь и на пороге встала монахиня в чепце и переднике, скромно перебирая четки и потупив глаза.

– Вы звали, синьора?

– Да, – высокомерно обронила Цецилия. – Проводи синьора Аретино, да не через двор, а через сад.

Монахиня кивнула и сделала приглашающий жест. После небрежного поклона посетитель покинул приемную.

Цецилия рванула с плеч багряный плащ, в котором ей было нестерпимо жарко, и поразилась внезапно воцарившемуся сумраку. То ли с уходом Аретино и впрямь закатилось для нее солнце радости, то ли тьма спустилась в приемной потому, что под ярким плащом оказалось черное одеяние аббатисы...

У Цецилии кипели на глазах слезы, когда она привычно заталкивала под унылый чепец роскошь своих лоснящихся кудрей. Сердито отерев глаза краем ладони, с ненавистью оглядела приемную. Она желала бы увидеть здесь материи самых ярких цветов – желтые, зеленые, красные, – льющиеся, как жидкий пламень, море шелка, бархата, атласа и небрежно брошенные на них перламутровые веера, веера из дорогих перьев, целые гирлянды великолепных цветов, жемчужные ожерелья и бог знает что еще, чему не сразу подберешь имя! А вместо этого... Огромные, резного дерева шкафы, собрание редких манускриптов и инкунабул. О да, у Цецилии весьма внушительная тюрьма! Она вспомнила о золоте, которое, уходя, бросил ей Пьетро, и на сердце слегка потеплело.

Чтобы окончательно улучшить настроение, Цецилия решила непременно посетить сегодня ночью некую пустую келью с секретным окошечком и полюбоваться тем, что будет вершиться по воле выдумщика Пьетро. И улыбка взошла на ее уста, и, случись кому-то постороннему увидеть это вдохновенное, улыбающееся лицо, он решил бы, что, несомненно, сама мадонна, на изображение которой задумчиво смотрела Цецилия Феррари, озарила ей душу благодатью!

* * *

Вечером она посетила трапезную Нижнего монастыря и снисходительно раздвинула губы в улыбке, когда юные девушки наперегонки бросились к ней, норовя очутиться ближе, и коснуться тончайшего черного шелка, из которого было сшито ее платье (в отличие от их, грубошерстных), и поглазеть на золотой крест и бриллиантовые четки, в которых кое-где были вставлены изумруды, и

вдохнуть сладкий розовый запах, который всегда окружал аббатису, будто душистое облако.

А потом она села и протянула руку для поцелуя, искоса оглядывая разгоряченные девичьи лица с улыбкой, которая надежно скрывала ее мысли: «Почему глупость юности так приманчива для мужчин?!» К сожалению, дело было вовсе не в глупости, а в свежести юности, и когда одна из воспитанниц, забывшись, позволила себе слишком громко шепнуть подружке: «У нее губы накрашены, клянусь святой мадонной!» – Цецилия едва сдержалась, чтобы не пожелать вслух ее тугим и алым губам навеки покрыться коростой.

Мысленно приметив востроглазую болтушку, будущему которой отныне, уж конечно, было не позавидовать, она наконец-то бросила взор на молоденькую сестру-воспитательницу, скромно стоящую поодаль:

– Девочки слишком уж разошлись, сестра Дария.

– Да, матушка, – проронила та, не поднимая глаз и не делая никаких попыток навести порядок.

Цецилия едва заметно перевела дух. «Матушка! Ну, я тебе это припомню!..»

– Может быть, я ошибаюсь, конечно, но, по-моему, я уже доводила до сведения сестер-воспитательниц, чтобы меня называли «ваше преосвященство»!

– Да, ма... ваше преосвященство, – покорно повторила сестра-воспитательница, и от звука гневного голоса настоятельницы на лице ее выразился откровенный испуг.

Цецилия любила, когда ею восхищались, – но еще больше любила, когда ее боялись. Она прекрасно знала, что и сестра Дария, и все другие считают опасным чудачеством это требование, ведь «ваше преосвященство» – кардинальское звание, звание мужчины! Однако в своем монастыре Цецилия Феррари была не только кардиналом, но и богиней, и императрицей, и святой, она издавала здесь законы, она имела единоличное право казнить и миловать, и пожелай она, простая аббатиса, чтобы ее титуловали «ваше святейшество» и целовали туфлю, как папе римскому, кто посмел бы ей воспротивиться? Ослушницы же, если таковые находились, тотчас же отсылались на задний двор

с напутствием попросить у сестры Марцеллы десяток хороших плетей. Но Дария... Вообще-то очень даже неплохо, что ослушницей оказалась именно сестра Дария, ведь иначе нужен был бы приличный предлог для перевода ее в Верхний монастырь, а теперь никакого предлога не нужно.

– Это очень дурно, сестра, что у вас такая плохая память. – Цецилия говорила спокойным, наставительным тоном, однако в голосе ее звенела сталь. – Если вы сами не способны усвоить законы уважения и послушания, разве способны вы передать их младшим сестрам? А ведь кому, как не вам, следовало бы особенно стараться и давать пример прилежности и самоотречения! Или вам желательно вновь вернуться в то положение, которое вы занимали в нашем монастыре всего лишь пять лет назад?

Девушка позволила себе быстро взглянуть на аббатису, но это была лишь мгновенная вольность, и та не успела уловить выражения этих больших серо-голубых глаз. Конечно, не может быть, чтобы они сверкнули надеждой. Ведь пять лет назад сестра Дария была просто рабыней, купленной монастырем за не очень-то большие деньги и только по счастливой случайности определенной не на чистку свинарника, а в помощь садовнице Гликерии, тоже рабыне. Нелюдимая Гликерия полюбила девочку, как родную дочь, и та привязалась к ней со всем жаром одинокого сердца. Но пять лет назад Гликерия умерла, и последним желанием ее было видеть свою воспитанницу среди монастырских сестер.

Случилось так, что аббатиса не могла отказать Гликерии и принуждена была дать клятву принять девочку под свою опеку, постричь ее в монахини и разрешить учиться вместе с остальными воспитанницами. В обмен на эту клятву Гликерия отказалась от предсмертной исповеди, прямым образом направив в ад свою душу, отягощенную воспоминаниями о девяти абортах, которые она в разное время делала аббатисе.

Умелая, непревзойденная повитуха, Гликерия в продолжение многих лет пользовала весь Верхний монастырь. В случае надобности она изготавливала вязкое на ощупь снадобье, в которое, по слухам, подмешивались толченые змеиные языки и кровь летучих мышей. Во время ближайшей мессы сие дьявольское тесто подкладывалось под чашу и как бы освящалось (все-таки употребить его должны были служительницы божии), а потом подмешивалось в пищу забрюхатевшим девственницам. И действовало тесто безотказно – если, конечно, беременность вовремя была замечена. При более поздней стадии

Гликерия преискусно орудовала вязальными иглами, и ни одна монашенка не умерла от кровотечения! До сих пор Гликерию нет-нет да и поминали с тоскою молодые монахини, которым приходилось отдавать себя во власть грубых, невежественных повитух: тайком, с завязанными глазами, привозили их с окраин, населенных простолюдинами, чаще всего с Мурано, да еще и платили безумные деньги, чтобы обеспечить молчание...

В общем-то, справедливости ради надо сказать, что Цецилия ни разу не пожалела о своей уступчивости. Девочка оказалась необычайно умна и прилежна, мгновенно выучилась читать и писать, в молитвах не путалась, была послушна, а в рукоделии не уступала никому: что шить, что низать бисер, что плести кружево под стать мастерицам с Бурано [8 - Остров в Венеции, где испокон веков жили знаменитые кружевницы, как на Мурано - стеклодувы.] - ко всякому делу была способна.

И нежная, расцветающая красота ее не могла не радовать глаз Цецилии, не терпящей вокруг себя никакого безобразия, хотя и ревновавшей порою к молодым хорошеньким сестрам. Чем дальше, тем больше понимала Цецилия, почему Гликерия назвала девочку Троянда. Слово это в переводе с какого-то загадочного славянского наречия означало роза [9 - С украинского.], а ведь Гликерия была славянкою по происхождению. Она рассказывала Цецилии свою историю: о том, как была похищена турками во время набега, продана в рабство, но спустя много лет выкуплена мальтийскими рыцарями, спасавшими от мусульманской неволи христианских пленников. Однако Гликерия была православной, а не католичкою, поэтому она не обрела свободы, а лишь сменила хозяев. Впрочем, она казалась вполне довольной своей участью и никогда не вспоминала о Сибири, в которой, по убеждению Цецилии, находилась и Московия, и Польша, и все северные страны. Но Цецилия прекрасно помнила тот день, тринадцать лет назад, когда купец, синьор Орландини, только что вернувшийся из Московии, привел в монастырь полуживое грязное существо и сказал, что эту славянку он подобрал где-то в дремучих русских лесах, ему она не нужна, и он с охотою отдаст ее в монастырские рабыни. Цецилия тогда только что приняла пост настоятельницы, и все события того достопамятного времени накрепко запали ей в память.

Что бы там ни бормотал Орландини о своем милосердии, невозможно было не заметить ужаса, с которым на него смотрела девочка. И хотя побоев на худеньком тельце не было видно, Цецилия не сомневалась, что Орландини пускал в ход кулаки. Она всегда предпочитала прямоту в деловых вопросах, а

потому и спросила напрямик: «Я надеюсь, она девственна?» – и была поражена тем, как вдруг исказилось красивое, мрачное лицо Орландины.

– Не сомневайтесь, – буркнул он с отвращением. – Я скорее кастрировал бы сам себя, чем коснулся этой твари.

Да, подумала Цецилия, невозможно так ненавидеть кого-то, особенно – ребенка, лишь за то, что нашел его в дремучем лесу. Разве что у девчки премерзкий характер... но это ничего, суровая Гликерия отлично умеет обламывать самых строптивых рабынь и служанок!

Впрочем, именно этого – обламывать девчонку – Гликерия как раз и не стала делать, потому что привязанность, которая сразу возникла между старой женщиной и ребенком, была сродни любви с первого взгляда. Они одного племени, снисходительно думала Цецилия, наблюдая исподтишка, как льнет Дария (таким было имя новой рабыни) к старой садовнице и как играет улыбка на хмуром морщинистом лице Гликерии. В ее заботливых руках девчонка мгновенно расцвела и действительно стала напоминать розу своим ярким белорозовым лицом, свежими губами – всем тем ощущением юной прелести, которым так и дышало все ее существо, хотя красивой, конечно, назвать ее было трудно. И сейчас, глядя в эти слишком широко расставленные глаза, на слишком круто изогнутые брови, на вздернутый нос, Цецилия злорадно подумала, что монашеский чепец откровенно уродует Дарию. Как жаль, как бесконечно жаль, что Аретино увидел Троянду в те редкие мгновения, когда она была без чепца, и волосы ее, заплетенные в косу, открывали высокий лоб, и не искажалась прелестная линия скул, и нежный рот не был сжат скорбно и туго... Проще говоря, Аретино увидел Троянду в купальне. До этого там побывало уже с десяток сестер из Нижнего монастыря, и Аретино вдоволь насладился созерцанием юных и не очень юных, стройных и уже обрюзглых нагих женских тел. Мозаичная стена купальни, изображавшая целомудренное умывание мадонны, была кое-где инкрустирована стеклянными вставками. Со стороны купальни они были непроницаемы, а вот с другой стороны, из-за стены, открывали нескромному взору все подробности монашеских омовений.

Цецилия была тогда рядом с Пьетро – разумеется, как без ее содействия он мог попасть в сии тайные покои! Аббатиса сама его туда привела, наивно надеясь, что созерцание голых красоток возбудит его угасшие чувства. Однако случилось неожиданное – в Аретино заговорил не самец, а любознательный художник. Сначала он принялся рассуждать о целесообразности пропорций той или иной

купальщицы с точки зрения великого Леонардо, затем пристал к Цецилии с вопросом, кому принадлежит столь остроумная идея устроить эту потайную комнату, явно предназначенную для непристойных подглядываний.

Цецилия не знала: она выведала секрет купальни лишь накануне своего вступления в чин, когда ее предшественница уже лежала на смертном одре. Раскрытие секрета было сродни признанию в постыдном и богопротивном грехе, и Цецилия хранила тайну стеклянного витража долгие годы, иногда в одиночестве подглядывая за купающимися сестрами – лишь для того, чтобы убедиться: она красивее любой из них и всех, вместе взятых. В тот день, лежа рядом с Аретино близ прозрачной стены, она втихомолку лелеяла ту же мысль и думала, что если уж Пьетро Аретино, имя которого стыдно произнести в обществе приличных женщин, не хочет ее, то никакая другая женщина не способна будет его возбудить, а потому вся эта затея с подглядыванием – пустая, как вдруг заметила, что вяло поникший знак мужского достоинства Пьетро резко встал, а через мгновение – Цецилия и ахнуть не успела! – любовник овладел ею с пылом, о каком она давно забыла. Причем устроился он так, чтобы, занимаясь любовью, смотреть в потайное стекло, и Цецилии не понадобилось много времени понять: в мыслях Пьетро сейчас обладает другой женщиной. И в этой другой, без сомнения, было что-то, чего не было в Цецилии, ибо сила и страсть объятий Пьетро ошеломили ее. Она раз за разом возносилась к небесам – измученная, переполненная восхищением, – а Пьетро все никак не мог насытиться, и Цецилия, изредка открывая залитые слезами восторга глаза, видела, что пылающий взор Аретино устремлен на невидимую ей обольстительницу.

«Кто? Кто это?» – забилась ревнивая мысль, миг уничтожив всякое подобие возбуждения. Цецилия обмякла, забыв о наслаждении; лежала покорно, ожидая только одного: поскорее увидеть свою соперницу.

С трудом отдышавшись, когда Пьетро наконец-то извергся и рухнул в изнеможении, Цецилия выбралась из-под его тяжелого, мокрого от пота тела и, вскочив на колени, глянула в запотевшее стекло.

Округлый изгиб бедер, узкие плечи, мягкая линия талии – все это напоминало своими очертаниями изящную греческую амфору. Высокая грудь прелестно просвечивала сквозь мокрые светлые пряди, которые касались тела девушки, словно растопыренные пальцы нетерпеливого любовника.

– Как тебя зовут? – слышался шепот.

Цецилия оглянулась.

Глаза Пьетро закрыты, лицо счастливое, спокойное.

– Как тебя зовут? – снова шепнул он пересохшими губами.

Цецилия обхватила плечи ладонями: вдруг стало зябко. Не ее имя спрашивал Пьетро – он знал его отлично! Он хотел знать имя той, которой только что владел в своем воображении с пылкостью, о которой может только мечтать любовница!

Да, кто это? Как ее зовут?

Цецилия вглядывалась в розовое, как цветок, лицо.

– Троянда, – шепнула она. – Троянда... – и тут же пожалела о сказанном.

Одному господину ведомо, почему она назвала это имя – слишком пышное и роскошное для еще не распустившегося бутона! Следовало бы сказать правду, назвать ее Дарией – и уж позлорадствовать, какое впечатление это произведет на Пьетро, чувствительного к звукам и их слиянию столь же, сколь к сплетению человеческих тел.

Дария! Какая скука! Святая Дария, невеста Святого Хрисанфа, которую жених обратил ко Христу и которая за это приняла вместе с ним от язычников великие мучения примерно четырнадцать-пятнадцать столетий назад! Вот уж праведница была, вот скромница! Образ этой унылой девы с фанатично поблескивающими глазами, тощей и, конечно, весьма неприглядной, способен был погасить пыл любого мужчины, в то время как Троянда...

– Троянда... – жарко выдохнул Пьетро. – Троянда! – Он открыл глаза, привстал: – Я хочу эту. Хочу, ты слышишь?

Тон его не оставлял сомнений: Аретино ни перед чем не остановится, чтобы получить желаемое! Да и не настолько глупа была Цецилия, чтобы возмущаться. Аретино не тот человек, с которым можно спорить. Он дружен с нынешним папой; дож Венеции Андреа Гритти считает за честь приглашать его в свой дом и ежемесячно присылать ему сундучок с дукатами, каждый раз увеличивая сумму.

Аретино пришло однажды в голову заказать медаль: на одной стороне был его портрет, а на другой он же изображался сидящим на троне, в длинной императорской мантии, перед ним стояла толпа владетелей-государей, приносящих ему дар. Кругом надпись: «*I principi, tributadi dai popoli, il servo loro tributano!*» [10 - Государи, собирающие дань с народов, приносят дань своему рабу (лат.).] Злейшие враги Аретино называли его *tagliaborsa dei principi* [11 - Грабитель кошельков у государей (лат.).].

По одному мановению Аретино молчаливые *bravi* [12 - Головорезы, разбойники (итал.).] проникнут ночью в любое палаццо и – нет, не убьют хозяина, однако такого понаделают, что вспоминать об этом не захочет ни сам хозяин, ни тем более его жена и дочь... хотя, возможно, они-то как раз и вспомнят случившееся с удовольствием!

Но еще надежнее, чем *bravi*, служили Аретино его живой ум, острый язык и изящное перо. Его сонетов-эпиграмм боялись самые могущественные люди! Цецилия знавала тех, кто говаривал, осеняя себя крестным знамением: «Храни бог всякого от языка его!»

Да, Венеция избрала Аретино своим баловнем и кумиром, и в этом были его сила, его могущество. Но не гнева всесильного вельможи опасалась Цецилия. Больше всего она боялась потерять его расположение, его любовь... К тому же опытная распутница знала: начини она спорить, тем более строить препятствия – и его внезапная страсть к Троянде разгорится костром. Что ж, запретный плод сладок. К тому же Аретино все равно получит девку в свою постель! Даже если ему для этого понадобится разобрать монастырь по камешку. Другое дело, конечно, что потом он захочет ее сразу бросить, будто рваную перчатку, как чаще всего и бывало... Не лучше ли поскорее удовлетворить аппетит ненасытного Аретино и дать ему то, что он хочет?

Поэтому, неприметно переведя дыхание, чтобы избавиться от резкой боли в сердце, Цецилия произнесла (и только легкая хрипотца в голосе выдавала ее

волнение и тоску):

- Ты получишь все, что хочешь, Пьетро. Сам знаешь - я не смогу тебе отказать. Но... ради святой мадонны - скажи, что ты в ней нашел?!

Пьетро медленно усмехнулся, взглянув на Цецилию. Ну конечно, от него-то не укрылась ревность, раздирающая ей душу. Да разве что-то скроется от этих быстрых, ястребиных глаз? И яркую розу среди серой монастырской полыни они высмотрели.

- Что нашел? - Все так же дразняще усмехаясь, Аретино вновь взглянул в потайное окно и заслонил глаза ладонью, как бы не в силах глядеть на солнце:

- Ты посмотри! Нет, ты только посмотри!

И Цецилия снова покорно припала к окну.

Дария сидела на мраморной скамье, откинувшись на спинку, и лениво плескала из кувшина воду себе на ноги. Ладонь еле двигалась; медленно, как во сне, падала вода с тонких девичьих пальцев. Розовые колени были вяло разведены, другая рука повисла вдоль тела. Опущена голова, поникли ресницы, задремали соски. Мерно, едва заметно вздымался живот. Если бы не размеренные всплески, можно было бы подумать, будто девушка спит. Было что-то обреченно-покорное во всей ее позе, в склоненной голове. Чудилось, это олицетворение ленивой неги, терпеливого блаженства.

Цецилия невольно зевнула, такая власть расслабленности исходила от этой картины. Пожалуй, подойди сейчас к Дарии мужчина, она и не шелохнется, даст овладеть собою, пребывая все в том же состоянии полузабытья, несокрушимой покорности...

«Так вот в чем дело! В покорности!» - вдруг осенило Цецилию.

Этим свойством она никогда не обладала, так же как и терпением. О боже, да неужели именно этого так недостает Аретино? Именно в поисках робости и стыдливости захаживал он по ночам в монастырь чаще, чем зазывал к себе во

дворец красавиц куртизанок?

Но и в этом монастыре Мизерикордия, расположенном в отдаленном и тихом квартале, откуда видна лагуна, а за ней вдали – снежные горы Фриуля, он находил игривых, порочных, ненасытных, умелых любострастниц, ибо если в Нижнем монастыре и впрямь обрекали девочек служению богу, то Верхний был не чем иным, как вместительным утонченного распутства, весьма небрежно прикрытого черной рясою.

К изумлению Цецилии, Пьетро не кинулся в купальню тотчас же и не подмял под себя дремлющую девицу. Может быть, понял, что в этом случае не миновать скандала, да еще какого! Или уже тогда созрел в его уме лукавый замысел, который теперь начала приводить в исполнение Цецилия, ледяным голосом приказав сестре-воспитательнице Дарии тотчас после трапезы явиться в Верхний монастырь и доложить сестре-экономке, что в наказание она, сестра Дария, должна провести ночь в келье искушений.

Дария побелела, бросилась было к аббатисе, чтобы взмолиться о снисхождении. Но та уже двинулась по трапезной, наблюдая, как монашки вкушают пищу...

Глядя на сестру Цецилию, никому, ни одному человеку в мире, не пришло бы в голову, что она сейчас едва удерживается, чтобы не молить эту дуру поменяться с ней местами. Хотя бы на нынешнюю ночь!

2. Испытание святой Дарии

– Мать Цецилия! О господи, о святая мадонна! Ваше преосвященство, да проснитесь же!

Цецилия открыла глаза. Пухлощекое лицо сестры-экономки расплывалось в предрассветном полумраке и казалось еще толще.

– Что, пожар? – сердито пробормотала Цецилия, успев, впрочем, порадоваться, что и при пожаре ее не забывают титуловать как следует. Что значит выучка!

Если так пойдет и дальше... Однако расширившиеся от страха глаза сестры-экономки не располагали к дальнейшим приятным размышлениям, а потому Цецилия сделала над собой усилие и попыталась обратить свой ум к делам земным: – Так скажешь ты наконец, что произошло?

Сестра-экономка кивнула и даже приоткрыла рот, но не смогла издать ни звука. Белесые глаза ее вдруг задрожали и как бы вытекли на щеки, и Цецилия с изумлением поняла, что злобредная сестра Катарина, последний оплот истинно монастырского начала в Верхнем монастыре, плачет! И Цецилии показалось, что она содрогнувшимся сердцем прозрела ответ за мгновение до того, как сестра Катарина наконец-то смогла выдать из себя ужасные слова:

– Сестра Дария... повесилась!

Цецилия еще мгновение глядела в плачущее лицо незрячими, остановившимися глазами. Не сразу до нее дошел смысл фразы, а еще – открытие, что за окном разгорается рассвет и, значит, она проспала у себя в покоях (язык не поворачивался назвать их кельею!) всю ночь обольщения Троянды.

О дьявол, какую прескверную шутку сыграло с ней вчерашнее фриульское! Значит, вместо того чтобы отправиться к келье искушений и всю ночь наблюдать за Аретино и Дарией... Вечером она впала в такое уныние, так терзалась ревностью, что не выдержала и достала заветную фьяску [13 - Бутыль для вина, оплетенная соломкой.] с фриульским. Выпила бокал, потом еще, еще, и... сон сморил ее. Кажется, она даже перестала смешивать вино с водой, как положено даме, если она не хочет прослыть дикаркой. То-то голова сейчас так и идет кругом! Схватив кувшин, в котором всегда было налито разбавленное вино, Цецилия жадно глотнула, не заботясь, что розовые струйки льются на грудь, пятная белую кружевную сорочку и выдавая содержимое кувшина. Впрочем, сестра Катарина рыдала и ничего вокруг себя не видела, а у Цецилии достаточно прояснилось в голове, чтобы суметь наконец встать и надеть халат. Она подхватила под руку сестру Катарину и толкнула дверь, ожидая увидеть коридор, заполненный перепуганными сестрами, однако вокруг было пусто.

– Кто-нибудь еще знает? – с тревогой прошептала она, и сестра Катарина так усердно затрясла головой, что брызги слез полетели во все стороны:

– Нет! Я сразу к вам... Я шла в кладовую, смотрю – келья сестры Дарии отворена. Заглянула – а она лежит на полу, на шее петля...

«Лежит? – изумилась было Цецилия. – Висит, наверное?» – но тут сестра Катарина вся сморщилась, намереваясь разразиться новыми рыданиями, и Цецилии пришлось ногтями вцепиться в ее пухлую руку, чтобы заставить молчать.

Хвала мадонне, если все спят, дело можно уладить без шума. Вынести несчастную грешницу в сад... там много укромных уголков! В Нижнем монастыре знают, что Дарию перевели в Верхний. А здесь о ее присутствии не знал никто, кроме Катарини и самой Цецилии. Ее долго не хватятся, может быть, никогда. И слава богу, потому что самоубийство монахини вызовет немедленный скандал: не миновать комиссии из Ватикана, не говоря уже о Совете десяти [14 - Верховный правительственный орган Венецианской республики в описываемое время.], который тут же прилетит в монастырь своих досмотрщиков, и даже связи Цецилии (в смысле, любовные связи с тремя дожами из этой десятки!) окажутся бессильны. Нет, конечно, похороны безумицы должны быть проведены в строжайшей тайне. Ее быстрый ум мгновенно нарисовал себе эту картину... которая, впрочем, тут же разлетелась вдребезги при одном только имени, мелькнувшем в памяти Цецилии.

Аретино! Сегодня ночью с Дарией был Аретино! Ох... ох, боже преблагий, что скажет Аретино?..

Ноги у Цецилии подкосились, и сестра Катарина едва успела поддержать аббатису. Так, чуть влачась, они дрожащими руками толкнули дверь в роковую келью и, поддерживая друг дружку, вошли в это обиталище смерти.

Сестра Катарина тут же, у входа, рухнула на колени и принялась молиться за грешную душу таким громким шепотом, что Цецилия принуждена была погрозить ей. Теперь губы Катарини двигались беззвучно, и ничто не мешало Цецилии смотреть – и думать.

Приступ слабости прошел так же мгновенно, как ушел, оставив по себе только холодный пот на лбу да подрагивающие руки, но ясность мысли вернулась.

Дария и впрямь лежала на полу, запрокинув голову, от которой змеился обрывок веревки. Другой свешивался с потолочной балки, и Цецилия поняла, что веревка оказалась ветхой, не выдержала тяжести тела. Интересно бы знать, как долго провисела Дария? Успел ли добиться от нее Аретино того, чего хотел, или... Ведь эта дурочка, испугавшись наказания, которое сулил ей голос и взгляд аббатисы, могла наложить на себя руки, лишь бы избежать неведомой кары! И тогда Пьетро, явившись на любовное свидание, нашел в келье труп!

Наверняка он подумал, что и это – происки обезумевшей от ревности Цецилии! От этой мысли ноги ее снова подкосились, и лицо сестры Катарины, оказавшееся в поле ее зрения, отнюдь не способствовало душевному успокоению, ибо рот этой достойной особы перестал шептать молитвы и был широко разинут, а глаза вытаращились так, что Цецилии почудилось, будто они вот-вот вывалятся из орбит. Чудилось, вот-вот сестра-экономка издаст вопль громче зова трубы иерихонской, и Цецилия сделала движение заткнуть ей рот, да не успела: Катарина повалилась на бок в глубоком обмороке. Тут Цецилия догадалась обернуться поглядеть, что же повергло Катарину в такое потрясение, – и... и она сама едва не рухнула рядом с сестрой-экономкой при виде того, как труп Дарии медленно приподнимается и, ослабляя петлю на шее, хрипло шепчет:

– О, Христа ради, ради пресвятой мадонны, простите меня, матушка!

Опять матушка? О господи, эту дуру не смогла исправить даже смерть!

* * *

Ну, разумеется, никакой смерти не было. Веревка оборвалась сразу, как только Дария повисла, она еще успела понять, что самоубийство ее не удалось, а потом лишилась чувств, больно ударившись об пол. Однако хоть первыми словами ее были слова прощения, никакого раскаяния не увидела Цецилия в глубине глаз Дарии, а только отчаяние, что рухнул ее греховный замысел.

Цецилия окинула взглядом келью, и от нее, конечно, не укрылась взбитая, взбаламученная постель... Топчан – а он тяжеленький! – даже от стены отъехал. «Что они тут делали?» – ревниво дрогнуло сердце, а бурые пятна на простыне подтвердили: делали-таки! Значит, Аретино получил свое... ну и что, потеря девственности так огорчила эту дурочку?! Сие было непостижимо для Цецилии, которая времени своей невинности и припомнить-то не могла. Пожалуй, она

просто сменила кукол на любовников в самом нежном возрасте! Однако она усвоила, что жизнь велит считаться с предрассудками, а потому кое-как, с помощью легких пощечин, привела сестру Катарину в сознание и вытолкала ее за дверь с наказом молчать до могилы о том, что здесь происходило.

Сестра Катарина уползла. В Нижнем монастыре уже звонил утренний колокол. Через полчаса поднимутся и обитательницы Верхнего монастыря. Теплые солнечные лучи нарисовали узорную, сияющую решетку на серой стене кельи, и в растрепанных волосах Дарии зажглись золотые искры.

Цецилия нахмурилась. Конечно, следовало говорить о смертном грехе и загубленной душе, но ее куда больше интересовало тело Дарии, а потому она спросила прямо:

– Что было здесь этой ночью?

Дария оглянулась на свой покосившийся топчан – и дрожь прошла по ее телу, судорога отвращения исказила лицо. Цецилия, наверное, расхохоталась бы злорадно – видел бы сие Аретино! – но слова Дарии заставили ее надолго поперхнуться смешком:

– Сегодня ночью мною обладал дьявол!

– ...С вечера меня неодолимо клонило в сон, – рассказывала сестра Дария чуть погодя. – Еще и солнце не село, а у меня уже ни на что не было сил. Не помню, как я легла и провалилась в сон. Нет, это была дрема, такая тяжелая дрема, что мне все время чудилось, будто я лежу на дне реки, а тело мое заплыло песком. Я знала, что нужно помолиться – и всё отляжет, но не могла вспомнить ни одной молитвы! Я засыпала, просыпалась, вновь засыпала... Мне чудилось, я жду чего-то, и тело мое горело. Я металась...

Цецилия слегка кивнула. Чего же ожидать, если в питье Дарии был подмешан любовный ладан, изготовленный из мускуса, сока древовидного алоэ, красного кораллового порошка, настойки серой амбры и розовых лепестков, смешанных с несколькими каплями крови попугая и высушенным мозгом воробья! У этой глупышки небось пожар разгорелся между ног. Другая давно погасила бы его хотя бы пальцем! А она, значит, металась... Хорошее словечко.

– Я ждала чего-то страшного, – бормотала Дария, расширенными глазами глядя в стену, словно там запечатлелись ночные картины, – и дождалась! Было темно, темно... и вдруг луна вошла в моем окне, и в ее свете я увидела высокую фигуру, окутанную плащом с головы до пят, так что я не различала ни лица, ни очертаний явившегося мне существа. Я чувствовала только запах серы и понимала, что оказалась во власти дьявольских чар.

– Ты молилась? – сухо поинтересовалась Цецилия, незаметно принохиваясь. А ведь в самом деле – запах серы еще витает в воздухе! Ну, Пьетро... не может без сценических эффектов! И она ничуть не удивится, если и луна была в сговоре с Аретино и вошла в самый нужный миг, чтобы придать его появлению потрясающую выразительность.

– В лунном свете его плащ казался седым, но вскоре я поняла, что он багряный, как лепестки роз, озаренные закатным солнцем, – проговорила Дария. – В этом цвете было что-то... пагубное! Искушающее! Я смотрела, не отводя глаз, пытаюсь понять, что вижу, но это было только колыханье красной материи. И вдруг складки плаща слегка раздвинулись довольно высоко над полом, – Дария неуверенно повела рукой примерно на высоте бедер, – и я увидела нечто странное... как будто очень большой и очень толстый палец, указывающий прямо на меня.

Цецилия схватилась было за сердце, но тут же приняла спокойный вид, опасаясь спугнуть рассказчицу. О, этот «палец» был ей хорошо знаком...

– Существо приблизилось, и я почувствовала совсем другой аромат, заглушивший запах серы. Я не могу ни с чем его сравнить... мне был он прежде незнаком. Впрочем, не могу назвать его неприятным. Он даже успокаивал... нет, не совсем так, – мучилась Дария, пытаюсь как можно точнее передать свои ощущения и не замечая ревнивых судорог, пробегающих по лицу аббатисы. – Я не успокоилась телесно, хотя и перестала бояться душевно. Мне даже удалось не закричать, когда палец оказался над самым моим лицом. Он подрагивал, как бы в нетерпении, а я смотрела на него. Он был такой... странный! Я не удержалась и потрогала его... просто сжала рукой... и тут существо со стоном отшатнулось, сорвало с себя свой красный плащ и швырнуло его на меня. Я еще успела увидеть чьи-то широкие плечи... А потом поняла, что это был не палец!

– Разумеется, – проскрежетала Цецилия. – Разумеется!..

– Это был не палец! – перебила ее Дария. – Это был хвост дьявола, только он почему-то рос у него не сзади, а спереди!

* * *

Потребовалось немалое время, прежде чем Цецилия смогла унять приступ неистового хохота, который только такая ошеломленная простушка, как Дария, могла принять за горькие рыдания по поводу ее, Дарии, невинной плоти, оскверненной дьяволом.

Из дальнейших сбивчивых рассказов Цецилии удалось, хотя и с некоторым трудом, понять, что дьявольские козни продолжались целую ночь, и он делал со своей жертвой, что хотел и как хотел, ничего не доставив ей, кроме боли в окровавленных чреслах, хотя сам не раз с удовольствием окроплял монашеское ложе своим адским семенем.

Цецилия кивнула со знанием дела. Да, бывают женщины, которым первый любовный опыт не доставляет никакого удовольствия. Мужчина должен на время оставить их, дать успокоиться боли, залечиться «боевым ранам», и уже на другую ночь бывшая девственница с удовольствием раскроется тому, в ком недавно видела разбойника и злодея. Аретино же оказался слишком нетерпелив, слишком рьян... Ох, конечно! Опoенная зельем Дария небось являла из себя образчик покорности, вот Пьетро и разошелся. Понравилось ли это ему? Увы, понравилось! Иначе разве сказал бы он, поднявшись с распростертого, измученного тела и на подгибающихся ногах тащась к выходу:

– Я еще приду к тебе, любовь моя! Завтра ночью жди!

Дарии казалось, что рассвет наступил почти сразу, как дьявол провалился в свою преисподнюю. Все тело у нее разламывалось от боли, но она все же нашла в себе силы подтащить табурет под потолочную балку и перекинуть через нее веревку, почему-то валявшуюся под топчаном. В тот миг Дария видела в ней дар бога, но теперь оказалось, что это нечистый вновь смеялся над ней! Надо было простыню свить на жгуты, уж прочнее вышло бы. Веревка-то порвалась!

– Нет, это бог спас тебя, – сурово возразила Цецилия. – Ты хотела совершить грех, а он простер с небес свою благодетельную десницу, и...

– Но я вовсе не жажду спасения! – перебила вдруг Дария, и Цецилия с изумлением уловила нотки неумной строптивости в ее голосе, еще хриплом от слез. – Я все равно убью себя! Никогда, никогда не забуду того, что произошло! Да вот же... он оставил на память! Это было у него на ноге, под левым коленом... я помню!

Она брезгливо ткнула в странный лоскут, валявшийся на полу. Цецилия подняла его – и поджала губы, чтобы не рассмеяться.

На сыроватом полу валялась так называемая колдовская подвязка. Маги, промышляющие ведьмовством и колдовством, обычно надевают их под левое колено на свои колдовские церемонии и на время насылания чар. Женские подвязки обыкновенно бархатные или шелковые, с позолоченными или серебряными застежками. Эта была из змеиной кожи с голубым шелком изнутри. На лицевой стороне ее Цецилия рассмотрела какое-то слово. Вгляделась и...

Daedalus... Дедал? Колдовское имя обладателя этой подвязки Дедал? Забавно. Впрочем, магическая вещица вполне могла принадлежать и самому Аретино, если учесть, что он – художник, поэт и рожден под знаком Тельца. Ведь мастер Дедал, сотворивший крылья для полета в небесах, был колдуном и некогда построил на Крите знаменитый Лабиринт для Миноса, жреца критского культа быка Посейдона. Дедал – Бык – Телец – Аретино... Именно по таким отдаленным внешне, но внутренне четко связанным знакам выбирают себе колдовское имя ведьмы и колдуны. О, как интересно! Значит, Аретино не чужд черной магии? Жаль, что Цецилия не знала об этом раньше... они могли бы устраивать чудные шабаши вместе... Только вдвоем!

Она погладила мягко шелестящую кожу подвязки. Зачем Пьетро оставил это? Забыл? Едва ли. Аретино никогда ничего не забывает и не делает просто так. Здесь есть какой-то смысл!

– Убьешь себя? – повторила Цецилия задумчиво. – Но ведь это смертельный грех. Тебя зароят за кладбищенской оградой, а душа твоя прямиком пойдет в ад.

– Да неужели вы думаете, что моя душа достойна рая после того, как мною обладал инкуб [15 - Инкуб – мужской образ, который принимает дьявол или его подручные для искушения святых или монахинь. Мужчинам являются суккубы – дьяволицы в образе обольстительных красавиц.]?

– Ну так что ж, – пожала плечами Цецилия. – Святому Антонию тоже являлись суккубы, а он смотрит на нас с высот райских.

– Но ведь он устоял перед обольщениями прекрасных дьяволиц, – запальчиво возразила Дария, и Цецилия лукаво глянула на нее исподлобья:

– Да, если судить по его рассказам. Но ведь никто не знает, что там происходило на самом-то деле. Возможно, Антоний и повалялся в постели с красоткой суккубой, а потом вдруг спохватился, раскаялся – и ну охаживать ее хлыстом, да и себя заодно. И вообще, может быть, дело в том, что он не получил от нее такого удовольствия, которого ожидал!..

Увидев, как медленно приоткрывается рот Дарии, Цецилия спохватилась – и захлопнула свой. Ну и разболталась же она, спаси господи ее душу грешную!

– Удовольствия?.. – тупо переспросила Дария. – Разве кто-то получает от этого удовольствие?!

«О да, да! Еще какое! – едва не закричала Цецилия. – И если бы ты не была нынче ночью пугливой, сонной дурой, ты бы не вешаться утром кинулась, а богов благодарила бы за то, что великолепнейший из всех созданий человеческих удостоил тебя своими ласками!»

Разумеется, она ничего подобного не сказала, а только проронила, поджимая губы, как если бы речь шла не о занятии, кое Цецилия обожала больше всего на свете, а о... ну, скажем, о мытье посуды после трапезы:

– Соитие назначено господом нашим, создателем и вседержителем, для продолжения рода человеческого, однако наш Творец, в неизреченной милости своей, сподобил человека при сем величайшем акте испытывать наслаждение, равного которому нет ничего. Ни-че-го!

Дария смотрела недоверчиво. Потом шепнула, отводя глаза:

– Простите, матушка... то есть, ох, боже мой... простите, ваше преосвященство, но как можно верить на слово? Может быть, сие не более чем распутные измышления тех, кто завидует нашей святой жизни и обетам нашим?

«Если бы так!» – едва не воскликнула Цецилия, ощутив, как увлажнилось ее лоно при одной только мысли о том, каким «распутным измышлениям» предавался нынче ночью Аретино. О, будь она на месте Дарии... И голос ее срывался, когда она наконец смогла заговорить:

– Вот кстати – о наших обетах. Что жертвуем мы господу, когда посвящаем себя ему? Какие даем обеты?

– Какие? Смирения, послушания... бедности, воздержания...

– Да, да, да! – закивала Цецилия. – Мы жертвуем господу свою гордость для смирения, свой ум, свои мысли – для послушания, свою красоту – для бедности. Я женщина, я понимаю, как это трудно... как трудно!

– Да, – робко кивнула Дария. – Да... мне тоже иногда хочется носить жемчуг. О, это так прекрасно! Будь у меня деньги, я заказала бы себе жемчужные четки!

Лицо ее вспыхнуло румянцем, но тут же погасло. Цецилия усмехнулась:

– Жемчуг! И жемчуг, и алмазы, и кружево, и бархат, мягкий, как лепестки роз, и сами эти розы, и сладкое вино, и жирное, хорошо поджаренное мясо, и каплуны, и... и...

Она едва не захлебнулась слюной и сочла за благо прекратить перечисление любимых блюд. Надо скорее позавтракать. А какие мечтательные глаза сделались у Дарии! Бедняжка! У Цецилии на ужин была жирненькая перепелочка с оливками и маринованным луком, а девочка ела сухой хлеб и сухой сыр в Нижнем монастыре. Потом ночь с Аретино... Понятно, что она сейчас душу готова продать за пороссячью ножку!

– Что жемчуг! Жених наш небесный хочет от своих невест самого богатого приданого – девственности. Вечного уныния плоти! Уж поверь – он забирает у нас, требуя воздержания, такую радость, что и жемчуг, и кружево, и вкусная еда – ничто по сравнению с этим.

– Вы так говорите... – испуганно шепнула Дария, – вы так говорите, как будто сами однажды... однажды испытали грех!

– Однажды? – недоуменно спросила Цецилия. – Почему только одна?.. – Она благоразумно ухватила продолжение на самом кончике языка и сказала просто: – Я знаю, о чем говорю. Поверь. И слово «грех» тут совершенно неуместно, если женщине приходится выбирать между смертью – или мужчиной. Поверь, на весах небесных любоддеяние – сущая ерунда по сравнению с самоубийством!

– О господи... – прошептала Дария, и глаза ее, чудилось, сделались еще больше, засияли еще ярче от нахлынувших слез. – Ох, какая вы добрая, ма... то есть, я хочу сказать, ваше преосвященство! Я всегда думала, что вы меня недолюбливаете, что вам все равно, есть я на свете или нет, а вы... вы...

Она принялась вытирать слезы, что оказалось очень кстати, ибо дало Цецилии время справиться со своим лицом.

Что ж... в приметливости этой девчонке не откажешь. И похоже, она не такая уж простушка, как кажется... нет, все же дура, дура, если считает Цецилию доброй. Быть доброй к своей сопернице?! Да Цецилия своими руками надела бы Дарии петлю на шею, причем выбранная ею веревка не порвалась бы под весом и пятерых таких скромниц! О, если бы Дарии удался ее замысел... если бы чертову Катарину не принес дьявол... как все могло бы сложиться удачно! А теперь – теперь игра проиграна. Даже если начать сокрушаться вместе с Дарией о смертном грехе, загубленной душе и адском пламени, даже если подтолкнуть ее к новой, более результативной попытке... все будет напрасно. Аретино тотчас проведает об этом (ибо нет ничего на свете, что могло быть от него скрыто!) – и не простит Цецилию. Девчонка ему понравилась, ясно. Он сказал, что вернется. И подвязку не потерял, а оставил в залог будущей встречи...

Тут Цецилия вдруг почувствовала, как волосы у нее медленно поднимаются дыбом. Не намекнул ли Аретино, что знает доподлинно: у Цецилии тоже есть такая подвязка! Она сделана из голубого бархата, и подбита голубым шелком, и скреплена золотой застежкой, и украшена крошечными золотыми колокольчиками, которые издают очаровательно-таинственный перезвон, когда, набросив свою фиолетовую накидку и распустив волосы, Цецилия берет магический кубок и открывает книгу заклинаний, бормоча «формулу отречения»:

– Нима! Огавакул то сан ивабзи он, еинешукси ов сан идевв ен и... [16 - «Формула отречения» ведьмы, означающая, что она предается дьяволу, состоит в чтении молитвы «Отче наш» наоборот: с последней буквы последнего слова.]

О боже!.. Цецилия была так вышколена годами притворства, что даже сейчас, как ни была взволнована, помянула имя господина, а не рогатого, хотя лишь ему поклонялась в сердце своем. О боже, так, значит, Цецилия находится в руках Аретино еще больше, чем ей казалось? И хотя она никогда не насылала проклятия, не чертила квадрат Марса, не заклинала Перевернутую пентаграмму, не прибегала к насыланию Восьми, вызыванию ненастной погоды и, уж конечно, Великого колдовства, хотя она владела и пользовалась только любовной магией на самом низком уровне, за которой таились темнота дикого леса, топанье и фырканье бога зверей, торчащий пенис и голодная вульва, – она знала: никто не станет вникать в такие мелочи. Ведьма – она ведьма и есть. Развратницу-аббатису ждет позор, аббатису-ведьму – костер!

Цецилия слабо взмахнула ладонью у лица, словно отгоняя жар пламени. Да, Аретино вовремя напомнил о себе. Он хочет Дарию – он ее получит. Лучше это, чем огонь костра!

– Ваше преосвященство, что с вами?

Дрожащий голос привел ее в чувство. Цецилия устремила невидящий взор на лицо Дарии и растянула губы в улыбке.

– Так ты говоришь, убить себя?.. – промолвила она задумчиво. – Ну что ж, если ты не можешь жить оскверненной, пожалуй, и впрямь лучше умереть.

– Д-да? – с запинкой выговорила Дария. – Но это же... как же... грех?

Ага, полдела уже сделано! Она уже не мечтает о смерти так самозабвенно! Похоже, Цецилии достался весьма податливый материал.

– Грех можно замолить, – усмехнулась она. – Конечно, если останешься жива.

– Но ведь ночью... – нерешительно шепнула Дария, с ужасом оглядываясь на свой вздыбленный топчан.

– Ночью что? – жестко переспросила Цецилия, которой уже до смерти надоела навязанная ей Аретино роль покорной сводни. – Представь, что тебе все это лишь приснилось, тебя мучил кошмар.

– Кошмар? – ахнула Дария. – Конечно, что может быть кошмарнее вот этого?! – Метнувшись к постели, она подняла простыню, на которой расплылись пятна девственной крови, обильно разбавленной мужским семенем. – Мою невинность взял дьявол! Как можно замолить это?!

– Да забудь ты об этом! – не сдержавшись, рывкнула Цецилия. – Забудь! Если бы тебя изнасиловал смертный развратник, ты что, тоже в петлю бы полезла? Ничего подобного. Стерла бы коленки в молельне, вот и все!

Она не договорила, с интересом наблюдая, как Дария зажмурилась, видимо, изо всех сил стараясь это представить, но тут слезы снова брызнули из-под ресниц, и она открыла детски-беспомощные глаза, прорыдав:

– Не могу! Не могу такого представить! Ведь вы сказали, что с мужчиной я бы получила удовольствие, мне было бы хоть что вспомнить хорошее, а тут... – И она с отвращением передернула плечами.

Цецилия непременно рассмеялась бы – если бы могла. Но она только головой покачала, вспомнив историю про монахиню, которую изнасиловали трое разбойников, и та, одернув свое рубище, перекрестилась: «Благодарю тебя, боже! Без греха и досыта!» Вот уж правда, что неисповедимы пути твои, господи.

– Ну, если дело только в этом... – протянула она задумчиво, словно с трудом искала ответа, в то время как уже ясно видела, что делать, что говорить, и нужные слова неслись наперегонки. – Надо сделать так, чтобы тебя взял смертный мужчина. Тогда будет считаться, что он разрушил твою девственность, а инкуб и впрямь являлся во сне.

– Будет считаться? – недоверчиво переспросила Дария. – А кем?

– Да нами с тобой, – пожала плечами Цецилия. – Особенно если ты испытаешь удовольствие.

Дария нахмурилась, обдумывая сказанное своей мудрой наставницей.

– И что, для этого годится любой мужчина? – спросила она осторожно.

– Ну уж нет! – оскорбленно фыркнула Цецилия. – Большинство из них думает только о том, как свой блуд почесать, а о женщине не заботится. Это должен быть особенный мужчина, знающий толк в любви.

– В любви?! – потрясенно воскликнула Дария. – Как, разве и это – любовь?!

«Только это и есть любовь!» – едва не воскликнула Цецилия, но боялась, что разрыдается, если молвит хоть слово, а потому просто кивнула.

– А где найти такого мужчину? – деловито спросила Дария, и Цецилия мрачно усмехнулась:

– Предположим, я смогу тебе помочь. У меня есть один знакомый. Он настоящий патриций, из тех, кто вписан в *libro d'oro*, Золотую книгу, человек почтенный...

– Почтенный? – перебила Дария с едва уловимой ноткой разочарования в голосе. – Но... разве для сего непременно нужны почтенные лета и знатное происхождение?

– Тебе что, баркайоло [17 - Так в Венеции называют гондольеров.] сюда привести? – сухо осведомилась Цецилия. – Человеку, о котором идет речь, слегка за сорок. Самый раз!

Ей очень хотелось добавить, что за свое патрицианство Аретино заплатил двести или триста дукатов, так что о его знатном происхождении можно говорить только со скрытой усмешкой. Другое дело, что сын сапожника из Ареццо живет так, как не каждый *principe* [18 - Князь (итал.).] может себе позволить! А что до его почтенности, то у Аретино «шест» покрепче и подлиннее, чем у любого баркайоло! Но она не стала вдаваться в столь волнующие подробности, а только уточнила:

– Так ты согласна?

– Что же мне делать? – воздела руки молодая монашка. – Этот грех можно хотя бы замолить! Страшно только, что я совершаю сие по доброй воле, сознательно нарушая обеты, которые принесла господу!

– Ну, моя милая, – пожала плечами Цецилия. – Господу нашему, Иисусу сладчайшему, столько приносят обетов, что он и счет им потерял, наверное. Где ему разглядеть, какой нарушен, а какой нет!

Дария подумала-подумала – и кивнула. А ведь и в самом деле! У бога столько дел, столько людей требуют его присмотра! Может быть, ей повезет, и господь в нужную минутку как раз обратит свой взор на какую-нибудь другую грешницу?..

3. Совращение святой Дарии

Ну и, разумеется, все это было обставлено еще множеством охов, ахов, и рыданий, и причитаний, и проклятий врагу рода человеческого, который... ну и так далее, и в конце концов Цецилия преисполнилась уверенности, что нет ничего более унылого на свете, нежели совращение девственницы. Кое-как уgomонив Дарию приказом лечь поспать (нет, разумеется, в другой келье, в другой постели, как же иначе!), она стремглав убежала к себе – и дала волю слезам. Мало того, что Аретино бросил ее ради этой недалекой ломаки, так она еще и должна была устраивать их новые встречи! Больше всего ей хотелось сейчас плюнуть на Дарию, на Аретино, а заодно на все монастырские дела, которые требовали ее неотложного вмешательства. Но слишком многое могло рухнуть, посмей она не угодить Аретино, а потому несчастная аббатиса собралась с силами и открыла свой секретер, где лежали перья и бумага. Вскоре с нарочным в палаццо на Canal Grande [19 - Большой канал (итал.)] было отправлено достаточно пространное послание. Ответ пришел незамедлительно. Цецилия, прочитав и подумав, написала снова. Пьетро снова ответил... Словом, до времени «Ave Maria» [20 - Час вечерней молитвы в католических монастырях.] Цецилия только и делала, что получала и отправляла письма, и к урочному часу дурное настроение ее достигло своей вершины.

Вдобавок за обедом в трапезной много шумели, а во время дневного сна две послушницы тайком распевали серенаду, которой их научил некий баркайоло. Более того! Цецилия узнала, что парня с завязанными глазами приводили в монастырь, где он тешил пятерых «невест Христовых» всю прошлую ночь, а потом был, также с завязанными глазами, выведен за монастырские стены. Ну и ночка выдалась! Не монастырь, а... а... Цецилия не могла подобрать сравнения, но больше всего она злилась на то, что, оказывается, проспала еще одно

замечательное приключение. Девчонки, конечно, поступили чересчур неосторожно: простолюдины болтливы, а вдруг тот баркайоло оказался приметлив? Но главное – это было просто греховное наслаждение плоти без малейших признаков выгоды для монастыря! Ночь с воспитанницей Цецилии Феррари стоила недешево: до пятидесяти дукатов, и очень многие состоятельные люди не колеблясь платили огромные деньги, особенно если за это им дозволялось распутничать в любом уголке монастыря.

Скажем, находились любители переодеться в сутану и изображать священника, принимающего исповедь. Молоденькая монашенка красочно расписывала свои мнимые и действительные грехи, распаяя «священника» до тех пор, пока он не врывался в исповедальню, которая тут же начинала ходить ходуном.

Многие предпочитали предаваться страсти на колокольне (правда, трезвонить среди ночи Цецилия строго запрещала, но на Рождество, Пасху и прочие праздники, требующие ночного колокольного звона, заранее составлялся список желающих заниматься любовью под музыку), в трапезной, в подвалах для наказаний, даже на алтаре! Правда, подобное случалось довольно редко и стоило вчетверо дороже. На памяти Цецилии такое произошло всего однажды, причем участницей действия была сама мать аббатиса. И до сих пор при воспоминании об этом кощунстве у нее мурашки бежали по коже. Все-таки неистовое служение Эросу сочеталось в монастыре со служением Христу, и Цецилии так и не удалось избавиться от некоторых «предрассудков».

Словом, наказания сыпались в тот злосчастный день на монашек как из рога изобилия. И не одной послушнице пришлось отменить ночное свидание, ибо ей предписывалось ночное бдение в непрестанной молитве, а то и с «жестким бичеванием». Возмущения, однако, не последовало – Цецилия держала девиц железной рукою, и многим еще памятна была смерть ослепительно красивой сестры Терезы. Родом она была с Бурано, и ее продала обнищавшая семья. Кружевница она была искуснейшая, что весьма ценилось в монастыре, почти так же, как искусство любви (продажа кружева приносила Цецилии до пятисот дукатов в неделю!), однако наотрез отказывалась нарушить обет целомудрия и принимать мужчин, которые на ее красоту слетались как мухи на мед.

К большому удивлению Цецилии, тогда не помогли ни карцер, ни наказание голодом, ни бич. В конце концов упрямая девчонка умерла от побоев, прославляя Христа. Ее смерть простили Цецилии, однако с тех пор она стала осмотрительней и не давала воли рукам. Зато эта внезапная смерть оказалась

хорошей острасткой для других монахинь. И теперь большинство послушниц любую епитимью воспринимали покорно, изо всех сил стараясь вернуть расположение аббатисы. Так что Цецилия могла быть спокойна за свое хозяйство, когда покинула монастырь, чтобы вместе с Дарией войти на борт черной закрытой гондолы, достаточно большой для двух молчаливых женщин, старающихся держаться друг от друга подальше.

Да, Пьетро Аретино обрек Цецилию и этой каре: самолично доставить ему добычу! Он обещал щедрую награду, но для Цецилии самой высокой ценой было его молчание. И если ради этого ей придется держать Дарию, когда Пьетро захочет возлечь с нею, – что ж, она стерпит и это.

То, что встречу назначили в его дворце, Цецилию не удивило: роскошь палаццо Аретино невозможно забыть, увидев однажды! Наверное, Пьетро рассчитывал, что своим богатством он покорит Дарию окончательно. Однако, к изумлению Цецилии, гондола не причалила к парадной лестнице, массивными террасами вырастающей прямо из зеленоватой воды Canal Grande, а обогнула дворец справа, юркнула в какой-то canaletto [21 - Маленький канал (итал.)] и остановилась у скользких гранитных ступенек.

Их уже ждали. Высокий, гладко причесанный молодой человек в черном бархатном камзоле, с видом беспечным и наглым подал руки дамам (для маскировки Цецилия и Дария были облачены в глухие черные плащи с капюшонами) и помог выйти из гондолы. Цецилия перехватила испуганно-любопытный взгляд Дарии, брошенный на встречающего, и с трудом подавила улыбку: наверно, Дария подумала, что это ее грядущий обладатель и – чем черт не шутит – почувствовала к нему влечение! Но Луиджи Веньер был всего лишь прилежным учеником и секретарем Аретино – и одновременно доверенным лицом, облеченным особыми тайнами. Однако ему-то Аретино мог спокойно доверить любую из своих любовниц, а то и всех, вместе взятых: Луиджи весьма прохладно относился к женщинам, предпочитая мужчин. Впрочем, услужливый секретарь всегда старался держаться как галантный кавалер и, распуская слухи о своих невероятных любовных приключениях, не жалел денег на подарки дамам полусвета, втайне вождедая к хорошеньким мальчикам.

Увы, увы, бедный Луиджи! Цецилия помнила, как несколько лет назад патриция Бернардино Корреро и священника Франсуа Фабрицио обезглавили за грех мужеложства на Малой площади и тела их были преданы очищению огнем.

Иногда содомитов подвергали особо изощренной казни, заключающейся в том, что виновного сажали в деревянную сквозную клетку, оставляя ее висеть на страшной высоте от земли. Таким образом, любитель противоестественных наслаждений становился объектом всеобщих оскорблений, терпел жару, холод, дождь, ветер... Патриций Франческо де Сан-Поло попробовал бежать из клетки, даже сломал ее прутья, но сорвался и разбился насмерть. Этот случай обсуждался потом на Совете десяти, причем мнения членов Совета разделились. Одни требовали немедленной казни для уличенных в содомии. Другие же утверждали, что народу необходимо еще и зрелище позора. Сошлись на необходимости ужесточить наказание, и теперь специальный суд по делам подозреваемых в содомии собирали каждую пятницу, и результаты его становились общим достоянием. Вдобавок к этому каждый квартал Венеции избирал двух людей благородного происхождения, которые должны были постоянно носить оружие, чтобы на всяком месте убивать содомитов, где бы их ни встретили. Тем более было странно, что секретарь Пьетро Аретино продолжал здравствовать как ни в чем не бывало.

Наверное, с усмешкой подумала Цецилия, Луиджи обставляет свои тайные свидания с не меньшей таинственностью, чем сатанисты – свои черные мессы. А вот любопытно: колдовская подвязка, брошенная Аретино, – просто безделица, забава или верный знак того, что Аретино присутствовал на черной мессе или даже шабаше? Цецилия не сомневалась: он мог! Пьетро был жаден до еды, питья, женщин, ненасытен до всяких развлечений, которые только мог сыскать в жизни. Не исключено, совсем не исключено, что Аретино иногда забавляется с Луиджи. Не этим ли объяснима та рабская преданность, которую испытывает секретарь к своему хозяину? Однако бесспорно, что, будучи истинным воплощением мужественности и жизненной силы, Пьетро Аретино предпочитает, конечно, женщин... Забавно, конечно, что новую одалиску ведут к своему султану Луиджи и Цецилия, отвергнутые любовники! Впрочем, от Цецилии не укрылся пренебрежительный взгляд, которым Луиджи окинул съезжившуюся, перепуганную Дарию. Затем мужчина и женщина обменялись понимающими взорами... Оба подумали об одном и том же: отставка их временная, долго не продлится!

* * *

Луиджи провел дам через мощеный дворик; потом они поднялись во второй этаж и оказались в очаровательной комнате, завешенной розовым и пурпурным бархатом и похожей на раковину, в которую заглянул луч заходящего солнца.

Солнце и впрямь уже садилось, и его теплые лучи позолотили мягкие бархатные складки. Кругом на мраморных столах стояли вазы из Мурано, полные розовых, красных и желтых роз. Цецилия знала, что Аретино поддерживает муранских стеклоделов, ему принадлежат одна или две фабрики, он не стесняется беззастенчиво расхваливать их продукцию в письмах к своим многочисленным покровителям и высылать им хрупкие подарки. И сейчас она подумала, что влюбленный Аретино, с его бесовским чутьем, пожалуй, сделал единственно правильный выбор. Эти вазы были поистине прекрасны... и прекрасны цветы, источавшие сложный аромат нежности и затаенного сладострастия – как и вся эта комната, украшенная так изысканно и просто, что Цецилии захотелось прилечь на один из турецких диванов, обтянутых золотистым, в розовых розах, шелком, и долго-долго смотреть на картину в тяжелой золотой раме: золотисто-розовый закат, розовое тело нагой золотоволосой женщины, раскинувшейся на багряном шелку и небрежным движением тонкой, изящной кисти отстраняющей шаловливого крылатого мальчика, направившего на нее свой лук... Тициан, разумеется. Они ведь с Аретино близкие друзья.

Она так загляделась на дивное полотно, где каждый локон красавицы, чудилось, жил своей жизнью и вздрагивал под шаловливым ветерком, что и сама вздрогнула, когда легкий сквозняк из распахнувшейся двери возвестил, что в комнату вошел хозяин.

На нем был алый камзол, в тон дивному убранству, и Цецилия почти с ужасом ощутила вопиющую неуместность здесь, в этом райском уголке, трех мрачных, облаченных в черное фигур: ее самой, Луиджи – и Дарии. Прежде всего – Дарии!

Забыв даже откинуть капюшон, та застыла посреди комнаты олицетворением упрека и отчаяния, и Цецилии показалось, что сейчас эта несчастная дурочка со всех ног кинется прочь отсюда... но этого не произошло, потому что Аретино заговорил.

– Я благодарю за честь, которую оказали мне своим появлением прекрасные и достойные дамы. Это большой, большой подарок! – Он поклонился Цецилии, потом Дарии – и улыбнулся ей, пытаясь заглянуть под капюшон: – Соблаговолите преподнести мне еще один дар, синьорина: откройте ваше лицо. Аромат этих цветов желает коснуться ваших уст, столь же свежих и нежных, но во сто крат более сладостных. – Он вынул из вазы цветок и провел им по своим губам.

У Цецилии подогнулись колени. Этот жест так много значил на языке нежной страсти, но он был обращен не к ней... не к ней!

Дария, однако, не шелохнулась, а Цецилия почувствовала себя отмищенной: да ведь девчонка даже не понимает смысла таких речей! Перед кем ты распускаешь хвост, Пьетро?

Обычно смутить Аретино было невозможно. Получив отпор, он делал вид, что ничего не произошло, и продолжал молоть вздор с очаровательной наглостью, которая и делала его неотразимым. Но сейчас... Цецилия изумилась, увидев, что он замер, неловко вертя в руках розу, и трагическим взглядом уставился на Дарию. Внезапное молчание длилось столь долго, что Цецилия занервничала и решила его нарушить, но Луиджи предостерегающе свел брови, и она прикусила язычок – как выяснилось, вовремя, ибо смущенная, испуганная Дария наконец-то решила поднять глаза и взглянула на Аретино... именно в тот миг, когда он резко отшвырнул розу:

– Луиджи! Убери цветы! Все до одного!

Луиджи беспрекословно взялся за ближнюю вазу, но легкий, как вздох, шепот Дарии: «Не надо!..» – заставил его замереть.

– Нет, надо! – печально сказал Аретино. – Если вам не нравятся эти розы, их не должно быть здесь!

– Они нравятся мне, синьор, они прекрасны! – воскликнула Дария и, убоявшись собственной прыти, снова укрылась под защитой капюшона.

– Но вы не смотрите на них. Вы так печальны! Может быть, вам не нравится убранство этих покоев? Только прикажите – и мы перейдем в другие!

Дария покачала головой.

– Так в чем же дело? – продолжал допытываться Аретино. – Вы не отвечаете, не смотрите на меня. Может ли быть... неужели это мой вид внушает вам отвращение? – Голос его дрогнул, у Цецилии дрогнуло сердце.

Дария подняла голову и поглядела в лицо человеку, голос которого звучал так странно, так нежно, чарующе...

Что же она увидела? Цецилия твердо усвоила, что, глядя на одно и то же лицо, один и тот же предмет, люди видят совершенно разное, и все же она не сомневалась: ни одна женщина не может без трепета взирать на этот божественный лик, исполненный благородства, достоинства и... и...

Аретино не был красив в классическом смысле этого слова, но четкостью линий и пропорций лицо его не уступало классическим образцам. Может быть, слишком глубоко посаженные глаза, слишком резкий нос, слишком полные, безукоризненно четкие губы и могли показаться кому-то некрасивыми, но это было лицо человека, которого природа наделила крепким здоровьем и кипучим темпераментом. Это было лицо, исполненное страсти, которую Аретино испытывал к прекрасной даме по имени Жизнь, обожая и обожествляя ее во всех ее проявлениях: была ли то плотская любовь, или страсть к пышным трапезам, веселым пирам, изысканным винам и фруктам, роскоши в своем доме, или восхищение буйством красок на Тициановых полотнах или в небесах над лагуной, восторг при виде множества новых драгоценностей или кошельков с золотом, присланных очередным покровителем, – и сейчас все эти чувства собрались воедино в его взоре, воплощая собою одно: желание женщины, в глаза которой он смотрел.

О, могла ли, могла ли она остаться равнодушной?! Чудилось, и мраморная статуя ожила, затрепетала бы, приоткрыла губы, чтобы с них сорвалось чуть слышное: «Нет!»

Это был всего лишь ответ на вопрос Аретино, перейти ли в другие покои, однако Цецилия услышала нечто большее: Дария из последних сил противилась победительному обаянию этого человека, и слово «нет» было исторгнуто всем ее существом, готовым сдать последний рубеж обороны... но еще не сдавшим. И она до сих пор не сняла свой капюшон.

Аретино, прищурясь, взгляделся в затененные, полускрытые черты и кивнул. Глаза его сделались печальны, плечи поникли.

– Благодарю вас за это «нет», – проговорил он таким безжизненным голосом, как если бы понимал: оно сказано лишь из вежливости, а на самом деле Дария не чаёт от него избавиться. – Позвольте в таком случае поцеловать вашу руку, прекрасная дама, в знак того безграничного уважения и восхищения, которое я питаю к вашей особе.

Цецилии уже начали надоедать эти скучные испанские церемонии. Дария ведь прекрасно знает, зачем ее привели в этот дом, а Пьетро ведет себя с ней, будто с нетронутой девственницей. Ручку поцеловать! Да где! Разве она позволит!.. И тут, к ее изумлению, Дария протянула руку... причем даже быстрее, чем дозволяли приличия.

Аретино схватил ее, как драгоценную добычу, но не склонился перед дамой, как сделал бы француз, а поднял руку к своим губам и прижался ими к ладони.

Рука дернулась – Цецилия всем ревниво-напряженным существом своим ощутила, какая дрожь пронзила девушку при одном только прикосновении этих жарких, опытных губ, а потом губы Аретино медленно поползли выше – и Дария покачнулась.

Аретино протянул другую руку к ее капюшону, но еще не тронул его, а продолжал поцелуй, вернее, это сладострастное, рассчитанно-чувственное, восхитительное по своей невинности и одновременно греховности прикосновение, вглядываясь в едва различимое лицо Дарии и словно умоляя разрешить ему... разрешить...

Он ничего не делал – только смотрел и целовал руку, и Дария ничего не делала – только смотрела на него, а может быть, и вовсе стояла с закрытыми глазами, но воздух в комнате, чудилось, дрожал, как дрожит раскаленное марево... раскаленное марево невысказанной страсти, которая пронизывала всех присутствующих... и все они резко вздрогнули, как будто мир обуревавших их чувств раскололся со звоном от пронзительного крика, вдруг раздавшегося со двора:

– Синьор! Синьор! Лошади прибыли! Смотрите!

* * *

Забавно, что первой мыслью Цецилии было изумление этим словом: венецианцы ведь не знают коней, кроме тех, что вечно стремятся ускакать куда-то с фронтона собора Святого Марко, но вечно сдерживаемы пожатием каменной его десницы. Лошадям просто негде скакать в этом городе, где улицы – каналы, повозки – лодки, возницы – гребцы. Кажется, за всю свою тридцатилетнюю жизнь Цецилия видела живую лошадь всего три или четыре раза, поэтому она сделала невольный шаг к окну, не сдержав любопытства, и только потом заметила, что к окнам двинулись и Луиджи, и Аретино с Дарией, причем, раз завладев ее рукою, Аретино больше ее не выпускал, а Дария не делала никаких попыток вырваться.

«Ну да, покорность! Ее знаменитая покорность!» – с ненавистью подумала Цецилия, но тут же забыла о Дарии и даже об Аретино, захваченная поразительным зрелищем.

Три изящные кобылки: две рыжие, одна белая – нервно перебирали копытами по гранитным плитам, издавая при этом обеспокоенное ржание и озираясь. Двор был пуст, люди, как заметила Цецилия, торопливо скрывались сквозь калиточку в стене. Только двое топтались возле деревянных ворот, заложенных тяжелым брусом, и поглядывали вверх, как бы ожидая знака.

Луиджи, стоявший рядом с Цецилией, махнул рукой, и слуги, с усилием сдвинув брус, разбежались, волоча за собой створки ворот и впуская во двор еще трех коней – двух гнедых и одного вороного. Трех жеребцов.

Цецилия не была бы той, кем она была всю жизнь, если бы не посмотрела на те места, которыми и отличаются жеребцы от кобыл. Собственно говоря, к этим местам невольно приковывался всякий взор, ибо жеребцы были распалены страстью сверх всякой меры. Сцены из апулеевского «Золотого осла» вихрем пронесли перед мысленным взором Цецилии, и она ощутила слабость в коленях.

Кусаясь, лягаясь и издавая неистовое ржание, гнедые жеребцы кинулись к рыжим кобылицам и, искусав и ранив, покрыли их. В это время вороной приблизился к белой кобылке. Она попыталась было убежать и даже проскакала вокруг всего двора, но жеребец оказался проворнее и настиг ее возле ворот, которые уже снова были заперты. Она беспокойно затанцевала перед ним,

замешкалась, но вдруг, неожиданно словно бы и для себя самой, повернулась и подняла хвост.

Воздух был наполнен ржанием, ревом, стуком копыт, запахом потных лошадиных тел и извергающихся жеребцов.

Цецилии почудилось, что ее с головой окунули в поток раскаленной, грубой чувственности, который одолевает, подчиняет, увлекает с собой. Она застонала, теряя власть над своим телом. Еще мгновение – и, вся во власти темных, неистовых желаний, она бросилась бы во двор и вступила в соперничество с белой кобылицей за обладание ее восхитительным любовником, как вдруг сильный рывок вернул ей чувства.

Цецилия с изумлением осознала, что это Луиджи схватил ее за руку и тащит к двери. Она забилась протестующе, оглянулась – и замерла.

Наконец-то капюшон упал с головы Дарии! Светлые, вьющиеся, легкие, будто золотистая пряжа, волосы разметались по ее плечам, спине, реяли, словно живые нити, в воздухе и тянулись к черным волосам Аретино, который припал к губам Дарии таким поцелуем, словно не намерен был прерывать его ни в этой жизни, ни в будущей.

Цецилия протестующе вскрикнула – но тут же новым сильнейшим рывком была выволочена из комнаты и удержалась на ногах лишь потому, что успела ухватиться за портьеру.

Она с яростью оглянулась на Луиджи – но при виде этих черных, сплошь заливших глаза, безумно расширенных зрачков ярость ее уменьшилась, ибо Цецилия поняла, что Луиджи сжигают те же ревность и похоть, которые испепеляют сейчас и ее. Если бы он был другим... если бы она была другой... возможно, они сейчас нашли бы мгновенное, опустошительное успокоение, слившись прямо здесь, на мраморном полу, но... но ничего им не дано было изменить ни в своей, ни в чужой судьбе, а потому они только и могли, что смотреть, как вершится этот неистовый, всепоглощающий поцелуй.

Аретино не обнимал Дарию – только целовал ее, но пальцы его, то сжимающиеся в кулаки, то нервно распрямляющиеся, выдавали, какие судороги пронзают его

тело. Но он не двигался – он был покорен, покорен ее пальцам, которые, сначала путаясь, а потом все более проворно распускали шнуровку его гольфика, выпуская на свет напряженное, готовое к неистовой любовной битве естество.

Оказывается, предыдущая ночь все-таки не прошла для Троянды даром!

4. Аретинка

Звезда, с небесной вышины

Упавшая в камыш,

Вся содрогается, как ты,

Когда на мне лежишь... [22 - Здесь и далее перевод стихов с итальянского Ю. Медведева.]

Шепот, легкий, как вздох, коснулся слуха Троянды, и она вновь содрогнулась в сладостной, почти мучительной истоме.

Она и впрямь была распростерта на груди и животе Аретино, а ноги ее еще сжимали его бедра, и тела их были соединены. Стояла жара, нестерпимая жара, да к тому же любовники не размыкали объятий целую ночь, и тела их были мокры от пота. Но Троянде казалось, что это из сердца ее, сквозь все поры тела, сочится бесконечная любовь и нежность, которая переполняла ее и порою становилась почти нестерпимой. Любовь к этому человеку, бедра которого она все еще стискивала коленями так, что сладостная ломота отзывалась во всем теле...

Троянда чуть повернула голову и коснулась губами черной курчавой поросли на груди Пьетро. Волоски были соленые, и Троянда улыбнулась, медленно, сонно бродя пальцами в густых завитках. Тело Аретино так густо покрывала шерсть, что иногда распаленной Троянде чудилось, будто с нею любодействует не совсем человек, а не то зверь, не то божество. Пожалуй, и то, и другое, и третье,

потому что Аретино явился ей всем сразу. Троянда прежде и вообразить не могла, что такое бывает на свете...

Да что, собственно, она вообще знала?! Теперь Троянде казалось, что вся ее прошлая жизнь имела смысл лишь постольку, поскольку она выучила в монастыре классическую латынь и древнегреческий язык – как выяснилось, для того, чтобы запоем читать книги из роскошной библиотеки Аретино. Это было очередным открытием (да вся ее жизнь теперь состояла из открытий!) – узнать, что книги могут описывать не только жизнь святых, но и каких-то других мужчин и женщин, чье призвание заключалось в служении не богу, а любви.

Гомер, Сафо, Анакреонт, Овидий, Гораций, Феокрит, Феогнид... Троянда читала их книги без усталости, сначала с перехваченным горлом, оттого, что совершает смертный грех, но очень скоро боязнь сменилась восхитительным чувством свободы. Так вот, оказывается, что такое настоящая жизнь!

Монастырь? Но теперь она уже не вспоминала о нем, разве что изредка Гликерию, суровую, но такую добрую к ней. Матери своей Троянда не помнила – иногда всплывали в памяти ласковые светлые глаза, глядевшие словно бы мимо, затуманенные какими-то тайными мыслями; легкая, небрежная улыбка... И это было все, что она помнила из своего прошлого. Гликерия говорила девочке, что обе они родом из далекой огромной страны, называемой Россия, но в памяти Троянды это слово было прикрыто непроницаемой завесой ужаса, сквозь которую иногда брезжили очертания ледяного зимнего леса, долгого, мучительного пути, мрачного взгляда чьих-то черных глаз... страх, вечное желание куда-то спрятаться от этих ненавидящих глаз... больше она ничего не помнила – вернее, боялась вспоминать. Гликерия сперва пыталась расспрашивать, но девочка заходила в мучительных рыданиях, едва удавалось вызвать в памяти хоть какой-то образ ее прежней жизни, вот старая садовница и отступилась, мудро рассудив: господь наверняка знал, что делал, когда прикрыл сознание ребенка завесой беспомыслия. Со временем Дария и вовсе перестала размышлять о своем прошлом. «Россия», «мать», «дом» – это были только слова, не наполненные никаким значением. Жизнь она привыкла исчислять с того мгновения, когда среди мягкой тенистой зелени монастырского сада увидела морщинистое смуглое лицо Гликерии... но теперь она поняла, что ошибалась. Жизнь началась для нее с той минуты, когда высокий синьор в алом камзоле – ее Пьетро – взял Дарию за руку и припал поцелуем к ладони.

Так вот зачем страдала она в детстве, зачем изнывала от неосознанной тоски в монастыре, зачем была соблазнена дьяволом и покинута богом! Судьба уготовила ей эти испытания на пути к счастью, которое, оказывается, можно обрести только в объятиях этого мужчины.

Обеты и молитвы Троянда-Дария стряхнула с себя, как изношенную одежду. Но если бы кто-то вздумал упрекнуть ее за это, она нашлась бы что ответить. Да, бог первым предал ее верность, когда позволил дьяволу изнасиловать ее. Что проку служить повелителю, не могущему защитить рабу свою? И за что, за что она была отдана на растерзание чудовищу, развратившему ее?..

Впрочем, обида на небеса быстро проходила. Троянда любила размышлять и исследовать сцепление событий и потому не могла не понимать: одно вызвало другое, и ежели бы дьявол не овладел ею в ту роковую ночь, она закончила бы дни свои в монастырской скуке, так и не узнав Аретино! При одной только мысли о том, что их дороги никогда не пересеклись бы, Троянда начинала сожалеть, что бог не отступился от нее еще раньше. Бедняжка, она лишь подтверждала своим примером чье-то мудрое изречение: только глупцы думают, что ряса и чепец – это неизлечимая болезнь, женщина всегда остается женщиной, а плоть – плотью. Она любила – впервые, она познавала мужчину – впервые, а значит, любовь и познание любви случились в мире впервые со дня его сотворения.

Вычеркнув из своей жизни монастырь, Троянда сожалела только лишь об одном: что Аретино не разрешает ей увидеть мать аббатису и возблагодарить ее, как всемилостивую мадонну, за то счастье, которое она даровала перепуганной, несчастной, угрюмой девчонке. Впрочем, мать аббатиса, пожалуй, и не узнала бы прежнюю Дарию в красавице, обвитой в розовый шелк, с коротеньким модным корсажем, усыпанным драгоценностями, с оголенными плечами и низко вырезанным декольте, с короткими рукавами, затканными золотом и серебром, с длинным-предлинным шлейфом, который Троянде пришлось учиться носить. Да ей вообще всему на свете приходилось учиться, от любви до искусства одеваться. Поначалу руки ее путались, и, с утра начав, она едва могла закончить это занятие к вечеру. Вечером являлся Пьетро и начинал хохотать, застав ее еще не убранной, в одну минуту срывал одежды, на которые были затрачены много часов, и опрокидывал Троянду – даже не в постель – там, где она стояла, не имея терпения добраться до ложа. Им все служило ложем: кресло, или стол, или маленький, обитый бархатом табуретик, мраморная скамья, ступеньки, перила лестницы, пол... в конце концов, стенка, к которой можно было притиснуть Троянду.

Как-то раз, взглянув на небрежно смятое и кое-где разорванное платье (она даже не успела пристегнуть рукава и приколоть мех к декольте!), Троянда робко заикнулась, что не надо покупать ей столь дорогие наряды, ежели их постигает такая участь. Аретино расхохотался:

- Ты теперь знатная дама, дитя мое, а это значит, что ты должна носить все самое лучшее. Но в одном ты права: мода нынче тяжеловесна. Еще десять, двадцать лет назад все дамы старались выглядеть юными девушками; теперь же все бутоны стремятся поскорее превратиться в пышные, зрелые цветы. Рукава, на мой взгляд, тяжеловаты... Мы поступим вот как: я закажу для тебя наряды не столь помпезные, но не менее роскошные, с которыми ты вполне будешь успевать управляться. И пришлю служанку. Знатной госпоже нужна служанка!

Троянда одарила благодарным поцелуем своего щедрого возлюбленного, но наутро, когда она увидела служанку, радость ее померкла: это оказалась негритянка! Мавры и даже негры не являлись в Венеции редкостью: разумеется, в качестве рабов. Только воспоминание о том, что она сама была прежде рабыней, сдержало ее первый порыв вытолкать Моллу (так звали служанку) взашей. Аретино не спрашивал ее мнения: он просто подарил ей купленную полгода назад Моллу, как дарил жемчуг, изумруды, шелк, парчу, туфли, кружево... Он ведь не знал, что Троянде тошно будет смотреть на лунообразную, черную с лиловым отливом физиономию африканской великанши, на ее руки: ладони у нее были смугло-розовыми, а тыльная сторона черной. Уж лучше бы они были сплошь черными! Троянда едва не впадала в истерику от брезгливости, когда эти «ободранные» руки касались ее кожи.

Но если чему-то она и научилась от старой Гликерии, а потом и в Нижнем монастыре, так это терпению, и постепенно она привыкла терпеть Моллу, ничем не выдавая своего раздражения, тем более что невзрачная негритянка оказалась на редкость услужливой. Особенно ловка она была натирать тело, а ведь всевозможные ароматы Востока – мускус, амбра, алоэ, мирра, листья лимонного дерева, лаванда, мята и прочее – считались непременной принадлежностью дамского очарования. Благовония доставлялись Троянде в таких количествах, что она невольно ужасалась, воображая всех знаменитых дам Венеции, которых положение обязывает использовать ежедневно эти листья, травы, масла. Этих дам было не меньше десяти тысяч (на большее у Троянды просто не хватило знаний арифметики), и стоило представить количество корзин, коробов... кораблей, на которых все это привозится! Она

рассказала о своих соображениях Аретино, и тот, по своему обыкновению, расхохотался – он всегда смеялся тому, что она говорила, но с некоторым удивлением, как если бы не мог вообразить в ней вообще такой способности – думать, – и ответил:

– За все это мы должны благодарить дочь византийского императора Константина Дукаса, жену дожа Доменико Сельво. Она держала сотни рабов, занятых только тем, что каждое утро они ходили собирать росу с цветов. Лишь этой росой она могла умываться. Другие сотни рабов умащали ее тело, одевали ее. Когда она стала от множества притираний, косметик и духов гнить заживо, венецианцы придали этому значение божьей кары. Но было уже поздно! Такой образ жизни понравился женщинам. Порча стала развиваться со страшной быстротой, и проклинаясь мужчинами догаресса Сельво сделалась образцом для дам. С тех пор в венецианской жизни так много любви к красивой внешности, дорогому убранству, богатым тканям, удушающим ароматам, восточным нарядам, чернокожим слугам и золотоволосым женщинам.

Он поцеловал локон Троянды и усмехнулся, увидев испуг в ее глазах:

– С тех пор прошло лет двести, и никто больше не сгнил заживо от притираний. Зато скольких мужчин возбуждали эти ароматы...

Слова кумира и повелителя решили все. Если амбра, мускус и прочие душистые запахи нравятся Пьетро, Троянда будет благоухать, как сто цветов сразу. Тут уж Молла оказалась незаменима. И хотя Троянда сама натирала себе грудь, живот и бедра (прикосновения Моллы к этим частям ее тела она решительно отвергала), но спину, руки и ноги негритянка разминала и натирала замечательно. Кожа становилась мягкой и нежной, будто цветочный лепесток, даже жаль было прятать под платье это душистое великолепие. Впрочем, новые фасоны платьев, которые теперь носила Троянда, больше открывали, чем закрывали. Сначала она не понимала, как исхитриться, чтобы платье не свалилось со спины, ведь вместе с грудью открыты были и плечи. Но умение удерживать одеяние лишь зацепившимся за соски пришло само собой, так же как и привычка украшать драгоценностями не тело, а волосы. Вся головка ее теперь была усыпана бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, каждая прядка обвивалась жемчужной нитью. Да, прическа в этом волшебном городе была настоящим искусством. Выяснилось также, что здесь принято подкрашивать не только лицо, но и тело.

Старания Троянды и Моллы не оставались незамеченными, и Аретино, глядя на набеленную и подрумяненную грудь своей возлюбленной, частенько цитировал знаменитого Александра Каравайу, некогда преподнесшего возлюбленной экспромт:

Под взором робким и под взглядом смелым

Пусть расцветают розовым и белым

Бутоны ваших персей. Их краса —

Заря, что истомляет небеса.

И добавлял восторженно:

- Ну, теперь ты настоящая Аретинка!

- Аретинка? - переспросила Троянда, услышав это слово впервые и чуть нахмурясь: показалось или Пьетро и впрямь произнес его с насмешкою? - Что это значит?

- Это значит, - ответил Пьетро, привлекая ее в свои объятия, - что ты - моя. Что ты принадлежишь мне...

И слово «Аретинка» засияло, засверкало, расцвело.

Ах, он всегда знал, что сказать и как сказать! В конце концов, это ведь и было начало и конец, альфа и омега, смысл ее жизни: принадлежать Пьетро. Вся жизнь Троянды заключалась в нем... а его жизнь? Уходя поутру из ее покоев (Троянде принадлежали три огромные залы с выходом в сад и еще две гардеробные, туалетная и купальня), он возвращался лишь вечером, а то и поздно ночью, и Троянде порою становилось до слез жалко своей пропадающей красоты. Она читала, наряжалась, глядела в окна, гуляла в крошечном садике,

где был фонтан – мраморная статуя вечно плачущей Ниобеи, заросли магнолий и мирты, которые закрывали раскаленное солнце. Она в сотый, в тысячный раз смотрела на чудесные картины, столь же наивно-непристойные, сколь и прекрасные, во множестве украшавшие ее покои, с изумлением разглядывала мужские и женские тела, изумляясь тому, что кто-то еще на свете способен испытывать любовь и страсть. Она-то думала, что лишь они с Аретино... Не их ли пылкую нежность увидели гениальными взорами Тинторетто и Тициан, запечатлев ее в образе других людей?..

С Тинторетто, Троянда знала, Аретино был в ссоре: художник угрожал ему оружием, когда тот вздумал заступаться за Тициана в споре, случившемся между двумя великими мастерами. Зато дружба с Тицианом окрепла: Троянда знала, что Пьетро нередко бывает на улице Бирирде, где близ церкви Святого Канчиано жил художник. Разумеется, Троянду Аретино с собой не брал: ведь она была всего лишь Аретинка, а самые знатные люди Венеции, все эти Саммикелли, Нарди, Донато Джиакотти, добивались, как великой чести, приглашения на ужины к Тициану! И ей оставалось только воображать свой (и Пьетро, конечно) визит к гению, представлять, как она входит через резной портик в громадную темную залу, а потом – прямо в веселый сад, откуда открывается вид на поэтические лагуны, на отдаленные, едва различимые на небесах вершины Альп...

Там она познакомилась бы с вдовой великого пейзажиста Корреджо, которую называли «дамой Корреджо» и которая вместе с друзьями покойного мужа, Сансовино, Тицианом и Аретино, просиживала целые часы за столом, уставленным блюдами с дроздами, приправленными перцем и лавровыми листьями, с окороками из Фриуля, присланными для Аретино графом Манфредом де Калланта. Во время этих застолий рекой лилось превосходное трембиано, которым снабжала компанию сама дама Корреджо... Все это Троянда знала только по рассказам Пьетро. И обо всем прочем, что происходило с ее возлюбленным за пределами палаццо, Троянда узнавала только из его собственных уст.

Боже мой, как же она скучала! Но ведь у бедняжки Пьетро не было ни минуты свободной!

– Столько важных господ, – говорил он, – одолевает меня постоянно своими визитами. Лестницы моего палаццо просто истоптаны их ногами, точь-в-точь как мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц. Но не думаю, чтобы Рим

видел такую смесь народов и языков, какая наполняет мой дом. У Пьетро Аретино можно встретить турок, евреев, индийцев, французов, испанцев, немцев; что до итальянцев – подумай, сколько их может быть! Я не говорю уже о черни; невозможно видеть меня без монахов и патеров вокруг... Я всемирный секретарь!

Что это означало, Троянда почти не понимала. Она знала только, что Аретино – писатель. Да-да, настоящий писатель, почти как Овидий, Гораций, Гесиод... вернее, как Менипп, ибо он писал не стихи, а *giudizii*.

Аретино так часто произносил это слово, что Троянда как-то умолила его показать ей хотя бы одну *giudizii*. Он со смехом – Аретино всегда был в хорошем настроении! – принес ей кругом исписанный бумажный лист, на котором она прочла:

– «Объявляю вашему величеству и выражаю уверенность...» – Она запнулась: – Величеству?..

– Я пишу королю Франциску, – спокойно пояснил Аретино.

Троянда чуть не упала от изумления, а он продолжал:

– Ну что ж такого? Я пишу свои *giudizii* Карлу V, султану Солейману, мавританскому пирату Хайреддину Барбаруссе, Фуглерам в Германию, Генриху VIII... А они мне платят.

– Платят?! – изумилась Троянда, не имевшая представления о том, что за удовольствие можно получать деньги.

– Разумеется! Правда, по-разному. Скажем, Карл платит аккуратно, а Генрих не вполне. Отлично платят маркиз дель Васто, полководец Карла, граф Лейва, губернатор Ломбардии, Федерико Гонзага, маркиз Мантуанский, Франческо-Мария делла Ровере, герцог Урбинский, и его преемник Гвидубальдо.

– Да почему ж они платят? – все еще не могла взять в толк Троянда.

– Потому что не хотят, чтобы я во всеуслышание трепал их имена, имена их любовниц и фаворитов, их грешки и грешницы. Да ты читай, читай!

И она снова начала читать:

– «Объявляю вашему величеству и выражаю уверенность, что Рак, Скорпион, Весы и Близнецы при содействии книжников и фарисеев Зодиака волеют в меня секреты неба, как вливают в зверинец князей все пороки: коварство, трусость, неблагодарность, невежество, подлость, хитрость и ереси, чтобы сделать вас великодушным, храбрым, благодарным, доблестным, благородным, добрым и христианнейшим. А если небу угодно сделать их ослами, грубиянами (plebei) и преступниками, почему именно мне хотят зла герцоги Феррары, Милана, Мантуи, Флоренции и Савойи, герцоги только по имени? Разве я несу вину за молчаливую скарденность императора? Я побуждал короля Англии к перемене ложа?..»

Тут Аретино заметил изумление Троянды и пояснил:

– Генрих развелся с Екатериной Арагонской из-за Анны Болейн.

– «Если Венера заставляет злоупотреблять косметиками маркиза дель Васто, что я могу поделаться?..»

– Это так, мелочи, – перебил Аретино. – Легкий выпад по адресу приятеля.

– «Если Марс отказывает в воинской доблести Федерико Гонзага, зачем сваливать это на меня? Если Рыбы заставляют Альфонсо д'Эске солить угрей, пусть он пеняет на себя, а не на Аретино. Если...»

Пьетро хлопнул себя по коленям:

– Я особенно горжусь этой фразой. Альфонсо д'Эске объявил рыбную торговлю монополией феррарской казны. Да слыхана ли где-нибудь такая чушь?! Рыба ловится в водах Венеции – а налог за это платить в Ферраре! Умереть можно от смеха. И дальше, про кардинала Чибо... Ну-ка, вслух!

– «Если Близнецы сводят кардинала Чибо с невесткою, за что дуется на меня славный синьор Лоренцо? Если Козерог украшает голову герцогу Падуанскому,

ведь не я же был сводником!..»

Троянда опустила листок на колени. Отношения кардинала Чибо к жене его брата Лоренцо были притчею во языцех, слухи об этом в свое время просочились даже сквозь толстенные стены Нижнего монастыря. Но только этот оскорбительный намек до нее и дошел, все остальные уколы остались непостижимы, хотя она и понимала, как ранят *giudizii* тех, о ком там говорится. Она сообразила, что это никак не частное письмо, а что-то вроде листовок, которые смогут прочитать все грамотные люди. Прочитать – и позлословить о распутнике Генрихе Английском, о неумном щеголе дель Васто, о рогоносце из Падуи. Значит, богатые и именитые люди платят Аретино за то, чтобы он не упоминал об их язвах. Понятно...

Видимо, Аретино заметил смущение в ее лице, потому что рассмеялся: – Не тревожься. Я, конечно, профессор шантажа, но в литературе прославлен своей драматургией.

– Как Эзоп и Еврипид? – с надеждой спросила Троянда, впервые остро пожалев, что лишена возможности посетить театр и увидеть произведение своего господина на сцене.

– Как Эзоп, которого сбросили со скалы, и нищий Еврипид? – возмутился Аретино. – Да где им до меня! Разве за ними ухаживали знать, прелаты, художники? А меня окружают избранные. Мне несут древние реликвии, золотые ожерелья, бархатные плащи, картины, кошельки, набитые экю, дипломы академий! Мой бюст из белого мрамора, мой портрет работы Тициана, золотые, бронзовые и серебряные медали, меня изображающие, являют взору посетителей мою физиономию, которую многие называют грубой и бесстыдной. Изображали Эзопа и Еврипида увенчанными, одетыми в длинное императорское одеяние, восседающими на высоком троне, принимающими почести и подношения народов? Нет! А мое лицо, мои глаза смотрят на венецианцев буквально отовсюду. Я вижу мой образ на фасадах дворцов, нахожу его на футлярах гребней, на оправе зеркал, на майоликовых блюдах, подобно изображениям Александра, Цезаря и Сципиона. Уверяю тебя, дорогая, что в Мурано особый сорт хрустальных ваз зовется «Аретино». Порода лошадей называется аретино – в память о той лошади, которую я получил от папы Климента и подарил герцогу Фридриху. Канал, омывающий одну сторону того дома, где мы живем, окрещен именем Аретино. Говорят о стиле Аретино; сколько педантов лопнуло из-за него с досады!..

Он задохнулся, захохотал, схватил Троянду в объятия:

- Ну как? Теперь ты понимаешь, что принадлежишь великому человеку?

- Да, да, да! - шептала Троянда, целуя его сколько хватало сил.

Да... но лучше бы Пьетро все-таки писал о любви, подумала она, с дрожью сладострастия вспоминая волшебные слова, которые он вчера, задыхаясь, шептал ей. Но Аретино остался ими недоволен, пренебрежительно воскликнув: - Какое жалкое орудие - слово! Иногда тон атласного тела, или светящаяся тень на обнаженном плече, или трепетание света на зыбком шелке притягивают взор, а в твоем распоряжении только пустые слова, чтобы передать это! Нет, орудием влюбленного художника должна быть только кисть. Какая жалость, что я так и не стал художником! Ты вдохновляла бы меня на бессмертные полотна, моя Троянда, моя северная роза! Тициан умер бы от зависти!

Троянда вспомнила, как однажды робко намекнула: мол, нельзя ли попросить великого Тициана написать ее портрет? Она думала, Аретино высмеет ее за самонадеянность, но тот, наоборот, рассердился:

- Вот еще! А вдруг этот donnaiolo [23 - Бабник (итал.)] тебя сманит? Нет, еще не время. Может быть, когда-нибудь потом...

Эти слова надолго озадачили Троянду. Как это, интересно знать, ее может сманить Тициан - пусть он и великий художник? Ведь она безраздельно принадлежит Аретино, она любит только его и будет любить вечно. Ради него она оставила монастырь, нарушила все обеты, в его объятиях она испытала ни с чем не сравнимое счастье... да как же возможно лишиться этого? Как это оставить? Как нарушить связующие их узы? Неужто Пьетро считает ее способной на такое предательство? Да ведь это - куда большее святотатство, чем бегство из монастыря! Ведь сам он на такое никогда не решится, отчего же подозревает Троянду в нечистых помыслах?

Вот если бы он проводил с нею побольше времени, она уж заставила бы его позабыть о глупых, ревнивых подозрениях. Но он - увы! - принадлежит не только ей. Он должен писать свои giudizi, потому что только гонорары и пенсии дают ему средства жить так, как он хочет. Дария привыкла к

монастырской умеренности, которая была во многом сродни бедности, ну а Троянда вспоминала об этом с ужасом. Как? Есть только черствый хлеб, и несвежий сыр, и самые мелкие померанцы, и дурной виноград, когда можно есть жареную птицу, и роскошную ветчину, и мягкий, словно пуховая подушка, хлеб, и чудесных креветок и крабов с белой душисто-солончатой мякотью, и лучшую, нежнейшую рыбу! Персики, виноград и померанцы, подаваемые ей, всегда исходили соком. И она больше не хотела носить грубого полотна и колючей шерсти: ее тело требовало шелка и кружева, этого «сквозного покрывала», на цену одного локтя которого можно одеть бедную семью. Но Троянда не задумывалась об этом. Главное, чтобы Пьетро восклицал восхищенно: «Нет большей прелести, как бело-розовое тело красавицы, блистающее под тонкими сетями шелковых уборов!» – от одних этих слов голова ее шла кругом! И он, Пьетро, должен делать лишь то, что ему нравится, жить в роскоши. С некоторых пор она начала понимать, что бедность он ненавидит не столько из-за лишений, которые та приносит с собою, сколько из-за стеснений, которые она налагает на душу... Из-за необходимости размерять каждый свой поступок, каждую мысль, делать из мелочной арифметики закон и руководство к жизни! Не отдавая себе в том отчета, Троянда чувствовала: широкая и свободолюбивая натура Аретино могла вполне показать меру своих талантов только среди довольства и изобилия. Деньги были нужны ему, чтобы, мешая щедрость с расточительностью, быть добрым и отзывчивым, как велела ему сама его природа. Аретино, как никому на этом свете, нравилось жить, и он хотел, чтобы вокруг было как можно больше красок, как можно больше цветов.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Прощайте, госпожа! (итал.).

2

Кознями (старин.).

3

Беличьи шкурки (старин.).

4

Мурано – остров в Венеции, где производят знаменитые стеклянные изделия.

5

Елена Глинская, мать Ивана IV.

6

Так называлась плеть, нарочно предназначенная для наказания жены.

7

Церковный собор, часто носивший законодательный характер.

8

Остров в Венеции, где испокон веков жили знаменитые кружевницы, как на Мурано – стеклодувы.

9

С украинского.

10

Государи, собирающие дань с народов, приносят дань своему рабу (лат.).

11

Грабитель кошельков у государей (лат.).

12

Головорезы, разбойники (итал.).

13

Бутыль для вина, оплетенная соломкой.

14

Верховный правительственный орган Венецианской республики в описываемое время.

15

Инкуб – мужской образ, который принимает дьявол или его подручные для искушения святых или монахинь. Мужчинам являются суккубы – дьяволицы в образе обольстительных красавиц.

16

»Формула отречения» ведьмы, означающая, что она предается дьяволу, состоит в чтении молитвы «Отче наш» наоборот: с последней буквы последнего слова.

17

Так в Венеции называют гондольеров.

18

Князь (итал.).

19

Большой канал (итал.).

20

Час вечерней молитвы в католических монастырях.

21

Маленький канал (итал.).

22

Здесь и далее перевод стихов с итальянского Ю. Медведева.

Бабник (итал.).

Купить: <https://tellnovel.com/elena-arseneva/otrava-dlya-serdec>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)